

ОПЫТЫ

III

EXPERIMENTS NEW YORK

О П Ы Т Ы

Л И Т Е Р А Т У Р Н Ы Й

Ж У Р Н А Л П О Д Р Е Д А К Ц И Е Й

Р. Н. Г Р И Н Б Е Р Г А И В. Л. П А С Т У Х О В А

И З Д А Т Е Л Ь М. - Э. Ц Е Т Л И Н А

К Н И Г А Т Р Е Т Ь Я

Н Ь Ю - Й О Р К — 1 9 5 4 Г О Д

Обложка работы С. М. Гринберг

Второй год издания

ВЛАДИМИР НАБОКОВ

ВОСПОМИНАНИЯ

Предисловие к русскому изданию

Посвящаю моей жене.

Предлагаемая читателю автобиография, из которой здесь печатаются три первых главы, обнимает период почти в сорок лет — с первых годов века по май 1940 года, когда автор переселился из Европы в Соединенные Штаты. Ее цель описать прошлое с предельной точностью и отыскать в нем полные очертания, а именно: развитие и повторение тайных тем в явной судьбе. Я попытался дать Мнемозине не только волю, но и закон.

Основой и отчасти подлинником этой книги послужило ее американское издание, *“Conclusive Evidence”*. Совершенно владея с младенчества и английским и французским, я перешел бы для нужд сочинительства с русского на иностранный язык без труда, будь я, скажем, Джозеф Конрад, который, до того, как начал писать по-английски, никакого следа в родной (польской) литературе не оставил, а на избранном языке (английском) искусно пользовался готовыми формулами. Когда, в 1940 году, я решил перейти на английский язык, беда моя заключалась в том, что перед тем, в течение пятнадцати с лишком лет, я писал по-русски, и за эти годы наложил собственный отпечаток на свое орудие, на своего посредника. Переходя на другой язык, я отказывался таким образом не от языка Аввакума, Пушкина, Толстого — или Иванова, няни, русской публицистики — словом, не от общего языка, а от индивидуального, кровного наречия. Долголетняя привычка выражаться по-своему не позволяла довольствоваться на новоизбранном языке трафаретами — и чудовищные трудности

Copyright, 1954 by Experiments.

предстоявшего перевоплощения, и ужас расставанья с живым, ручным существом ввергли меня сначала в состояние, о котором нет надобности распространяться; скажу только, что ни один стоящий на определенном уровне писатель его не испытывал до меня.

Я вижу невыносимые недостатки в таких моих английских сочинениях, как например *"The Real Life of Sebastian Knight"*; есть кое-что удовлетворяющее меня в *"Bend Sinister"* и некоторых отдельных рассказах, печатавшихся время от времени в журнале *"The New Yorker"*. Книга *"Conclusive Evidence"* писалась долго (1946-1950), с особенно мучительным трудом, ибо память была настроена на один лад — музыкально недоговоренный, русский, — а навязывался ей другой лад, английский и обстоятельный. В получившейся книге некоторые мелкие части механизма были сомнительной прочности, но мне казалось, что целое работает довольно исправно — покуда я не взялся за безумное дело перевода *"Conclusive Evidence"* на прежний, основной мой язык. Недостатки объявились такие, так отвратительно тарасилась иная фраза, так много было и пробелов и лишних пояснений, что точный перевод на русский язык был бы карикатурой Мнемозины. Удержав общий узор, я изменил и дополнил многое. Предлагаемая русская книга относится к английскому тексту, как прописные буквы к курсиву, или как относится к стилизованному профилю в упор глядящее лицо: «Позвольте представиться», сказал мой спутник без улыбки. «Моя фамилия N.». Мы разговорились. Незаметно пролетела дорожная ночь. «Так-то, сударь», закончил он со вздохом. За окном вагона уже дымился ненастный день, мелькали печальные перелески, белело небо над каким-то пригородом, там и сям еще горели, или уже зажглись, окна в отдаленных домах...

Вот звон путеводной ноты.

Глава Первая

1

Колыбель качается над бездной. Заглушая шопот вдохновенных суеверий, здравый смысл говорит нам, что жизнь — только щель слабого света между двумя идеально-черными вечностями. Разницы в их черноте нет никакой, но в бездну преджизненную нам свойственно вглядываться с меньшим смятением, чем в ту, к которой летим со скоростью четырех тысяч пятисот ударов сердца в час. Я знал, впрочем, чувствительного юношу, страдавшего хронофобией и в отношении к безграничному прошлому. С томлением, прямо паническим, просматривая домашнего производства фильм, снятый за месяц до его рождения, он видел совершенно знакомый мир, ту же обстановку, тех же людей, но сознавал, что его-то в этом мире нет вовсе, что никто его отсутствия не замечает и по нем не горюет. Особенно навязчив и страшен был вид только что купленной детской коляски, стоявшей на крыльце с самодовольной косностью гроба; коляска была пуста, как будто «при обращении времени в мнимую величину минувшего», как удачно выразился мой молодой читатель, самые кости его исчезли.

Юность, конечно, очень подвержена таким наваждениям. И то сказать: коли та или другая добротная догма не приходит в подмогу свободной мысли, есть нечто ребячливое в повышенной восприимчивости к обратной или передней вечности. В зрелом же возрасте рядовой читатель так привыкает к непонятности ежедневной жизни, что относится с равнодушием к обеим черным пустотам, между которыми ему улыбается мираж, принимаемый им за ландшафт. Так давайте же, ограничим воображение. Его дивными и мучительными дарами могут наслаждаться только бессонные дети или какая-нибудь гениальная развалина. Дабы восторг жизни был человечески выносим, давайте (говорит читатель) навяжем ему меру.

Против всего этого я решительно восстаю. Я готов, перед своей же земной природой, ходить с грубой надписью под дождем, как обиженный приказчик. Сколько раз я чуть не вывихивал разума, стараясь высмотреть малейший луч личного среди безличной тьмы по оба предела жизни! Я готов был стать единоверцем последнего шамана, только бы не отказаться от внутреннего убеждения, что себя я не вижу в вечности лишь из-за земного времени, глухой стеной окружающего жизнь. Я забирался мыслью в серую от звезд даль — но ладонь скользила всё по той же совершенно непроницаемой глади. Кажется, кроме самоубийства, я перепробовал все выходы. Я отказывался от своего лица, чтобы проникнуть заурядным привидением в мир, существовавший до меня. Я мирился с униженным соседством романисток, лепечущих о разных иогах и атлантидах. Я терпел даже отчеты о медиумистических переживаниях каких-то английских полковников индийской службы, довольно ясно помнящих свои прежние воплощения под ивами Лхассы. В поисках ключей и разгадок я рылся в своих самых ранних снах — и раз уж я заговорил о снах, прошу заметить, что безоговорочно отмечаю фрейдовщину и всю ее темную средневековую пошлейшую подоплеку, с ее маниакальной погоней за половой символикой, с ее угрюмыми эмбриончиками, подглядывающими из природных засад угрюмое родительское соитие.

В начале моих исследований прошлого я не совсем понимал, что безграничное на первый взгляд время есть на самом деле круглая крепость. Не умея пробиться в свою вечность, я обратился к изучению ее пограничной полосы — моего младенчества. Я вижу пробуждение самосознания, как череду вспышек с уменьшающимися промежутками. Вспышки сливаются в цветные просветы, в географические формы. Я научился счету и слову почти одновременно, и открытие, что я — *я*, а мои родители — *они*, было непосредственно связано с понятием об отношении их возраста к моему. Вот включаю этот ток — и, судя по густоте солнечного света, тотчас заливающего мою память, по лапчатому его очерку, явно зависящему от пере-

слоений и колебаний лопастных дубовых листьев, промеж которых он падает на песок, полагаю, что мое открытие себя произошло в деревне, летом, когда, задав кое-какие вопросы, я сопоставил в уме точные ответы, полученные на них от отца и матери, — между которыми я вдруг появляюсь на пестрой парковой тропе. Всё это соответствует теории онтогенического повторения пройденного. Филогенически же, в первом человеке осознание себя не могло не совпасть с зарождением чувства времени.

Итак, лишь только добытая формула моего возраста, свежезеленая тройка на золотом фоне, встретила в солнечном течении тропы с родительскими цифрами, тенистыми тридцать три и двадцать семь, я испытал живительную встряску. При этом втором крещении, более действительном, чем первое (совершенное при воплях полуутопленного полувиктора, — звонко, из-за двери, мать успела поправить нерасторопного протоиерея Константина Ветвеницкого), я почувствовал себя погруженным в сияющую и подвижную среду, а именно в чистую стихию времени, которое я делил — как делишь, плещась, яркую морскую воду — с другими купающимися в ней существами. Тогда-то я вдруг понял, что двадцатисемилетнее, в чем-то белорозовом и мягком, создание, владеющее моей левой рукой, — моя мать, а создание тридцатитрехлетнее, в белозолотом и твердом, держащее меня за правую руку, — отец. Они шли, и между ними шел я, то упруго семеня, то переступая с подковки на подковку солнца, и опять семеня, посреди дорожки, в которой теперь из смехотворной дали узнаю одну из аллей, длинную, прямую, обсаженную дубками, прорезавших «новую» часть огромного парка в нашем петербургском имении. Это было в день рождения отца, двадцать первого, по нынешнему календарю, июля 1902 года; и глядя туда со страшно далекой, почти необитаемой гряды времени, я вижу себя в тот день восторженно празднующим зарождение чувственной жизни. До этого, оба моих водителя, и левый и правый, если и существовали в тумане моего младенчества, появлялись там лишь инкогнито, нежными анонимами; но теперь, при созвучии трех цифр, крепкая,

облая, подобно-блестящая кавалергардская кираса, обхватывавшая грудь и спину отца, взошла как солнце, и слева, как дневная луна, повис парасоль матери; и потом, в течение многих лет, я продолжал живо интересоваться возрастом родителей, справляясь о нем, как беспокойный пассажир, проверяя новые часы, справляется у спутников о времени.

Замечу мимоходом, что, отбыв воинскую повинность задолго до моего рождения, отец в тот знаменательный день вероятно надел свои полковые регалии ради праздничной шутки. Шутке, значит, я обязан первым проблеском полноценного сознания — что тоже имеет рекапитулярный смысл, ибо первые существа, почуявшие течение времени, несомненно были и первыми, умевшими улыбаться.

2

Первобытная пещера, а не модное лоно, — вот (венским мистикам наперекор) образ моих игр, когда мне было три-четыре года. Передо мной встает большой диван, с клеверным крапом по белому кретону, в одной из гостиных нашего деревенского дома: это массив, нагроможденный в эру доисторическую. История начинается неподалеку от него, с флоры прекрасного архипелага, там, где крупная гортензия в объемистом вазоне со следами земли наполовину скрывает, за облаками своих бледно-голубых и бледно-зеленых соцветий, пьедестал мраморной Дианы, на которой сидит муха.

Прямо над диваном висит батальная гравюра в раме из черного дерева, намечая еще один исторический этап. Стоя на пружинистом кретоне, я извлекал из ее смеси эпизодического и аллегорического разные фигуры, смысл которых раскрывался с годами: раненого барабанщика, трофеи, павшую лошадь, усачей со штыками, и неуязвимого среди этой застывшей возни, бритого императора в походном сюртуке на фоне пышного штаба.

С помощью взрослого домочадца (которому приходилось действовать сначала обеими руками, а потом мощным коле-

ном), диван несколько отодвигался от стены (здравствуйте, дырочки штепселя). Из диванных валиков строилась крыша; тяжелые подушки служили заслонами с обоих концов. Ползти на четвереньках по этому беспросветно-черному туннелю было сказочным наслаждением. Делалось душно и страшно, в коленко впивался кусочек ореховой скорлупы, но я всё же медлил в этой давящей тьме, слушая тупой звон в ушах, рассудительный звон одиночества, столь знакомый малышам, вовлеченным игрой в пыльные, грустно-укромные углы. Темнота становилась слепотой, слепота искрилась по-своему; и весь вспыхнув как-то снутри, в трепете сладкого ужаса, стуча коленками и ладошками, я торопился к выходу и сбивал подушку. Мечтательнее и тоньше была другая пещерная игра, — когда, проснувшись раньше обыкновенного, я сооружал шатер из простыни и одеяла, и давал волю воображению среди бледного света, полотняных и фланелевых лавин, в складках которых мне мерещились томительные допотопные дали, силуэты сонных зверей. Заодно воскресает образ моей детской кровати, с подъемными сетками из пушистого шнура по бокам, чтобы автор не выпал; и, в свою очередь, этот образ направляет память к другому утреннему приключению. Как бывало я упивался восхитительно крепким, гранатово-красным, хрустальным яйцом, уцелевшим от какой-то незапамятной Пасхи! Пожевав уголок простыни так, чтоб он хорошенько намок, я туго заворачивал в него граненое сокровище и, все еще подлизывая спеленутые его плоскости, глядел как горящий румянец постепенно просачивается сквозь влажную ткань со всё возрастающей насыщенностью рдения. Непосредственнее этого мне редко удавалось питаться красотой.

Допускаю, что я не в меру привязан к самым ранним своим впечатлениям; но как же не быть мне благодарным им? Они проложили путь в сущий рай осязательных и зрительных откровений. И всё я стою на коленях — классическая поза детства! — на полу, на постели, над игрушкой, ни над чем. Как-то раз, во время заграничной поездки, посреди отвлеченной ночи, именно так я стоял на подушке у окна спального отделения:

это было, должно быть, в 1903 году, между прежним Парижем и прежней Ривьерой, в давно несуществующем тяжело-звонном *train de luxe*, вагоны которого были окрашены по низу в кофейный цвет, а по верху — в сливочный. Должно быть, мне удалось отстегнуть и подтолкнуть вверх тугую тисненую шторку в головах моей койки. С неизъяснимым замираньем я смотрел сквозь стекло на горсть далеких алмазных огней, которые переливались в черной мгле отдаленных холмов, а затем как бы соскользнули в бархатный карман. Впоследствии я раздавал такие драгоценности героям моих книг, чтобы как-нибудь отделаться от бремени этого богатства. Загадочно-болезненное блаженство не изошло за полвека, если и ныне возвращаюсь к этим первичным чувствам. Они принадлежат гармонии моего совершеннейшего, счастливейшего детства, — и в силу этой гармонии, они с волшебной легкостью, сами по себе, без поэтического участия, откладываются в памяти сразу перебеленными черновиками. Привередничать и корячиться Мнемозина начинает только тогда, когда приходишь до глав юности. И вот еще соображение: сдается мне, что в смысле этого раннего набирания мира русские дети моего поколения и круга одарены были восприимчивостью поистине гениальной, точно судьба, в предвидении катастрофы, которой предстояло убрать сразу и навсегда прелестную декорацию, честно пыталась возместить будущую потерю, наделяя их души и тем, что по годам им еще не причиталось. Когда же все запасы и заготовки были сделаны, гениальность исчезла, как бывает оно с вундеркиндами в узком значении слова — с каким-нибудь кудрявым, смазливym мальчиком, управлявшим оркестром или укрощавшим гремучий, громадный рояль, у пальмы, на освещенной как Африка сцене, но впоследствии становящимся совершенно второстепенным, лысоватым музыкантом, с грустными глазами и какой-нибудь редкой внутренней опухолью, и чем-то тяжелым и смутно-уродливым в очерке егнушых бедер. Пусть так, но индивидуальная тайна пребывает и не перестает дразнить мемуариста. Ни в среде, ни в наследственности не могу нащупать тайный прибор, оттиснувший в начале моей жизни тот неповто-

димый водяной знак, который сам различаю только подняв ее на свет искусства.

3

Чтобы правильно расставить во времени некоторые мои ранние воспоминания, мне приходится равняться по кометам и затмениям, как делает историк, датирующий обрывки саг. Но в иных случаях хронология ложится у ног с любовью. Вижу, например, такую картину: карабкаюсь лягушкой по мокрым, черным приморским скалам; мисс Норкот, томная и печальная гувернантка, думая, что я слеую за ней, удаляется с моим братом вдоль взморья; карабаясь, я твержу, как некое истое, красноречивое, утешающее душу заклинание, простое английское слово «чайльдхуд» (детство); знакомый звук постепенно становится новым, странным, и в конец завораживается, когда другие «худ»'ы к нему присоединяются в моем маленьком, переполненном и кипящем мозгу — «Робин Худ» и «Литль Ред Райдинг Худ» (Красная Шапочка) и бурый куколь («худ») горбуњи-феи. В скале есть впадинки, в них стоит теплая морская водица, и бормоча, я как бы колдую над этими васильковыми купелями.

Место, это, конечно, Аббатия, на Адриатике. Накануне в кафе у фиумской пристани, когда уже нам подавали заказанное, мой отец заметил за ближним столиком двух японских офицеров — и мы тотчас ушли; однако я успел схватить целую бомбочку лимонного мороженого, которую так и унес в набухающем небной болью рту. Время, значит, 1904 год, мне пять лет. Лондонский журнал, который выписывает мисс Норкот, со вкусом воспроизводит рисунки японских корреспондентов, изображающих, как будут тонуть совсем на вид детские — из-за стиля японской живописи — паровозы русских, если они вздумают провести рельсы по байкальскому льду.

У меня впрочем есть в памяти и более ранняя связь с этой войной. Как то в начале того же года, в нашем петербургском особняке, меня повели из детской вниз, в отцовский кабинет, показаться генералу Куропаткину, с которым отец был в ко-

ротких отношениях. Желая позабавить меня, коренастый гость высыпал рядом с собой на отоманку десяток спичек и сложил их в горизонтальную черту, приговаривая: «Вот это — море — в тихую — погоду». Затем он быстро сдвинул углом каждую чету спичек, так чтобы горизонт превратился в ломаную линию, и сказал: «А вот это — море в бурю». Тут он смешал спички и собрался было показать другой — может быть лучший — фокус, но нам помешали. Слуга ввел его адъютанта, который, что-то ему доложил. Суетливо крикнув, Куропаткин, вполтора как говорится приема, встал с отоманки, причем разбросанные на ней спички подскочили ему вслед. В этот день он был назначен Верховным Главнокомандующим Дальневосточной Армии.

Через пятнадцать лет маленький магический случай со спичками имел свой особый эпилог. Во время бегства отца из захваченного большевиками Петербурга на юг, где-то, снежной ночью, при переходе какого-то моста, его остановил седобородый мужик в овчинном тулупе. Старик попросил огонька, которого у отца не оказалось. Вдруг они узнали друг друга. Дело не в том, удалось ли или нет опростившемуся Куропаткину избежать советского конца (энциклопедия молчит, будто набрав крови в рот). Что любопытно тут для меня, это логическое развитие темы спичек. Те давнишние, волшебные, которые он мне показывал, давно затерялись; пропала и его армия; провалилось всё; провалилось, как проваливались сквозь слюду ледка мои заводные паровозы, когда, помнится, я пробовал пускать их через замерзшие лужи в саду висбаденского отеля, зимой 1904-1905 года. Обнаружить и проследить на протяжении своей жизни развитие таких тематических узоров и есть, думается мне, главная задача мемуариста.

Ездили мы на разные воды, морские и минеральные, каждую осень, но никогда не оставались так долго — целый год — заграницей, как тогда, и мне, шестилетнему, довелось впер-

вые по-настоящему испытать древесным дымом отдающий восторг возвращения на родину — опять же, милость судьбы, одна из ряда прекрасных репетиций, заменивших представление, которое, по мне, может уже не состояться, хотя этого как будто и требует музыкальное разрешение жизни.

Итак, переходим к лету 1905 года: мать с тремя детьми в петербургском имении; политические дела задерживают отца в столице. В один из коротких своих наездов к нам, в Выру, он заметил, что мы с братом читаем и пишем по-английски отлично, но русской азбуки не знаем (помнится, кроме таких слов как «какао» я ничего по-русским не мог прочесть). Было решено, что сельский учитель будет приходить нам давать ежедневные уроки и водить нас гулять.

Каким веселым звуком, подстать солнечной и соленой ноте свистка, украшавшего мою белую матроску, зовет меня мое дивное детство на возобновленную встречу с бодрым Василием Мартыновичем! У него было толстовского типа широконосое лицо, пушистая плешь, русые усы и светлоголубые, цвета моей молочной чашки, глаза с небольшим интересным наростом на одном веке. Рукопожатие его было крепкое и влажное. Он носил черный галстук, повязанный либеральным бантом, и люстриновый пиджак. Ко мне, ребенку, он обращался на вы, как взрослый ко взрослому, т. е. совершенно по-новому, — не с противной чем-то интонацией наших слуг и, конечно, не с особой пронзительной нежностью, звеневшей в голосе матери (когда мне случалось хватиться самого крохотного пассажира, или оказывался у меня жар, и она переходила на вы словно хрупкое «ты» не могло бы выдержать груз ее обожания). Он был, как говорили мои тетки, шипением своего ужаса, как кипятком, ошпаривая человека, «красный»; мой отец его вытаскивал из какой-то политической истории (а потом, при Ленине, его по слухам расстреляли за эсэрство). Брал он меня чудесами чистописания, когда, выводя покой или люди, он придавал какую-то органическую густоту тому или другому сгибу, точно это были готовые ожить ганглии, чернилоносные сосуды. Во время полевых прогулок, завидя косарей, он сочным бари-

тоном кричал им «Бог помощь!». В дебрях наших лесов, горячо жестикулируя, он говорил о человеколюбии, о свободе, об ужасах войны и о тяжелой необходимости взрывать тиранов динамитом. Когда же он потчевал меня цитатами из «Долой Оружье!» благонамеренной, но бездарной Берты Зуттнер, я горячо восставал в защиту кровопролития, спасая свой детский мир пружинных пистолетов и артуровых рыцарей.

С помощью Василия Матыновича, Мнемозина может следовать и дальше по личной обочине общей истории. Спустя года полтора после Выборгского Воззвания (1906), отец провел три месяца в Крестах, в удобной камере, со своими книгами, мюллеровской гимнастикой и складной резиновой ванной, изучая итальянский язык и поддерживая с моей матерью незаконную корреспонденцию (на узких свиточках туалетной бумаги), которую переносил преданный друг семьи, А. И. Каминка. Мы были в деревне когда его выпустили; Василий Мартынович руководил торжественной встречей, украсив проселочную дорогу арками из зелени — и откровенно красными лентами. Мать ехала с отцом со станции Сиверской, а мы, дети, выехали им навстречу; и вспоминая именно этот день, я с праздничной ясностью восстанавливаю родной, как собственное кровообращение, путь из нашей Выры в село Рождествено, по ту сторону Оредежи: красноватую дорогу, — сперва шедшую между Старым Парком и Новым, затем колоннадой толстых берез, мимо некошенных полей; — а дальше: поворот, спуск к реке, искрящейся промеж парчевой тины, мост, вдруг разговорившийся под копытами, ослепительный блеск жестянки, оставленной удильщиком на перилах, белую усадьбу дяди на муравчатом холму, другой мост, через рукав Оредежи, другой холм, с липами, розовой церковью, мраморным склепом Рукавишниковых; наконец: шоссейную дорогу через село, окаймленную по-русски бобриком светлой травы с песчаными проплешинами да сиреневыми кустами вдоль замшелых изб; флаги перед новым, каменным, зданием сельской школы рядом со старым, деревянным; и, при стремительном нашем проезде, черную, белозубую собаченку, выскочившую откуда-то с не-

вероятной скоростью, но в совершенном молчании, сберегавшую лай до того мгновения, когда она очутится вровень с коляской.

5

В это первое необыкновенное десятилетие века фантастически перемешивалось новое со старым, либеральное с патриархальным, фатальная нищета с фаталистическим богатством. Не раз случалось, что, во время завтрака в многооконной, орехом обшитой столовой вырского дома, буфетчик Алексей наклонялся с удрученным видом к отцу, шопотом сообщая (при гостях шопот становился особенно шепеляв), что пришли мужики и просят его выйти к ним. Быстро переведя салфетку с колен на скатерть и извинившись перед моей матерью, отец покидал стол. Одно из восточных окон выходило на край сада у парадного подъезда; оттуда доносилось учтивое жужжанье, невидимая гурьба приветствовала барина. Из-за жары окна были затворены, и нельзя было разобрать смысл переговоров: крестьяне, верно, просили разрешенья скосить или срубить что-нибудь, и если, как часто бывало, отец немедленно соглашался, гул голосов поднимался снова, и его, по странному русскому обычаю, дюжие руки раскачивали и подкидывали несколько раз.

В столовой, между тем, братцу и мне велено было продолжать есть. Мама, готовясь снять двумя пальцами с вилки комочек говядины, заглядывала вниз, под воланы скатерти, там ли ее сердитая и капризная такса. *''Un jour ils vont le laisser tomber''*, замечала *Mlle Golay*, чопорная старая пессимистка, бывшая гувернантка матери, продолжавшая жить у нас в доме, всегда кислая, всегда в ужасных отношениях с детскими англичанками и француженками. Внезапно, глядя с моего места в восточное окно, я становился очевидцем замечательного случая левитации. Там, за стеклом, на секунду являлась, в лежащем положении, торжественно и удобно раскинувшись на воздухе, крупная фигура моего отца; его белый костюм слегка зыблится, прекрасное невозмутимое лицо было обращено к

небу. Дважды, трижды он возносился, под уханье и ура незримых качальщиков, и третий взлет был выше второго, и вот в последний раз вижу его покоящимся навзничь, и как бы навек, на кубовом фоне знойного полдня, как те внушительных размеров небожители, которые, в непринужденных позах, в ризах, поражающих обилием и силой складок, парят на церковных сводах в звездах, между тем как внизу одна от другой загораются в смертных руках восковые свечи, образуя рой огней в мреении ладана, и иерей читает о покое и памяти, и лоснящиеся траурные лилии застыт лицо того, кто лежит там, среди плывучих огней, в еще незакрытом гробу.

Глава Вторая

1

Я всегда был подвержен чему-то вроде легких, но неизлечимых, галлюцинаций. Одни из них слуховые, другие зрительные, а проку от них нет никакого. Вещие голоса, останавливавшие Сократа и понукавшие Жанну д-Арк, сводятся в моем случае к тем обрывочным пустякам, которые — подняв телефонную трубку — тотчас прихлопываешь, не желая подслушивать чужой вздор. Так, перед отходом ко сну, но в полном еще сознании, я часто слышу, как в смежном отделении мозга непринужденно идет какая-то странная однобокая беседа, никак не относящаяся к действительному течению моей мысли. Присоединяется, иначе говоря, неизвестный абонент, безличный паразит; его трезвый, совершенно посторонний голос произносит слова и фразы, ко мне не обращенные и содержания столь плоского, что не решаюсь привести пример, дабы нечаянно не заострить хоть слабым смыслом тупость этого бубнения. Ему есть и зрительный эквивалент — в некоторых предсонных образах, донимающих меня, особенно после кропотливой работы. Я имею в виду, конечно, не «внутренний снимок» — лицо умершего родителя, с телесной ясностью воз-

никающее в темноте по приложению страстного, героического духовного усилия; не говорю я и о так называемых *muscae volitantes* — теньях микроскопических пылинок в стеклянистой жидкости глаза, которые проплывают прозрачными узелками наискось по зрительному полю, и опять начинают с того же угла, если перемигнешь. Ближе к ним — к этим гипногогическим увеселениям, о которых идет неприятная речь, — можно пожалуй поставить красочную во мраке рану продленного впечатления, которую наносит, прежде чем пасть, свет только что отсеченной лампы. У меня выростали из рубиновых оптических стигматов и Рубенсы, и Рембрандты, и целые пылающие города. Особого толчка, однако, не нужно для появления этих живописных призраков, медленно и ровно развивающихся перед закрытыми глазами. Их движение и смена происходят вне всякой зависимости от воли наблюдателя, и в сущности отличаются от сновидений только какой-то клейкой свежестью, свойственной переводным картинкам, да еще тем, конечно, что во всех их фантастических фазах отдаешь себе полный отчет. Они подчас уродливы: привяжется, бывало, средневековый, грубый профиль, распаленный вином карл, нагло растущее ухо или нехорошая ноздря. Но иногда, перед самым забытьем, пухлый пепел падает на краски, и тогда фотизмы мои успокоительно расплываются, кто-то ходит в плаще среди ульев, лиловеют из-за паруса дымчатые острова, валит снег, улетают тяжелые птицы.

Кроме всего я наделен в редкой мере так называемой *audition colorée* — цветным слухом. Тут я мог бы невероятными подробностями взбесить самого покладистого читателя, но ограничусь только несколькими словами о русском алфавите: латинский был мною разобран в английском оригинале этой книги.

Не знаю, впрочем, правильно ли тут говорить о «слухе»: цветное ощущение создается по-моему осязательным, язычным, губным, чуть ли не вкусовым путем. Чтобы основательно определить окраску буквы, я должен просмаковать ее, дать ей набухнуть или излучиться во рту, пока воображаю ее зритель-

ный узор. Чрезвычайно сложный вопрос, как и почему малейшее несовпадение между разноязычными начертаниями единой буквы меняет и цветовое впечатление от нее (или, иначе говоря, каким именно образом сливаются в восприятии буквы ее звук, окраска и форма), может быть как-нибудь причастен понятию «структурных» красок в природе. Любопытно, что большей частью русская, инакописная, но идентичная по звуку, буква отличается тускловатым тоном по сравнению с латинской.

Чернобурую группу составляют: густое, без гальского глянца, А; довольно ровное (по сравнению с рваным *R*) Р; крепкое каучуковое Г; Ж, отличающееся от французского *J*, как горький шоколад от молочного; темно-коричневое, отполированное Я. В белесой группе буквы Л, Н, О, Х, Э представляют, в этом порядке, довольно бледную диету из вермишели, смоленской каши, миндального молока, сухой булки и шведского хлеба. Группу мутных промежуточных оттенков образуют клистирное Ч, пушисто-сизое Ш и такое же, но с прожелтью, Щ.

Переходя к спектру находим: красную группу с вишнево-кирпичным Б (гуще, чем *B*), розово-фланевевым М и розовато-телесным (чуть желтее, чем *V*) В; желтую группу с оранжеватым Ё, охряным Е, палевым Д, светло-палевым И, золотистым У и латуневым Ю; зеленую группу с гуашевым П, пыльноольховым Ф и пастельным Т (все эти суше, чем их латинские однозвучия); и наконец синюю, переходящую в фиолетовое, группу с жестяным Ц, влажно-голубым С, черничным К и блестяще-сиреневым З. Такова моя азбучная радуга (ВЁЕП-СКЗ).

Исповедь синэстета назовут претенциозной те, кто защищен от таких просачиваний и смешений чувств более плотными перегородками, чем защищен я. Но моей матери всё это показалось вполне естественным, когда мое свойство обнаружилось впервые: мне шел шестой или седьмой год, я строил замок из разноцветных азбучных кубиков — и вскользь заме-

тил ей, что покрашены они неправильно. Мы тут же выяснили, что мои буквы не всегда того-же цвета, что ее; согласные она видела довольно неясно, но зато музыкальные ноты были для нее, как желтые, красные, лиловые стеклышки, между тем как во мне они не возбуждали никаких хроматизмов. Надобно сказать, что у обоих моих родителей был абсолютный слух; но увы, для меня музыка всегда была и будет лишь произвольным нагромождением варварских звучаний. Могу по бедности понять и принять цыгановатую скрипку или какой-нибудь влажный перебор арфы в «Богеме», да еще всякие испанские спазмы и звон, — но концертное фортепиано с фалдами и решительно все духовые хоботы и анаконды в небольших дозах вызывают во мне скуку, а в больших — оголение всех нервов и даже понос.

Моя нежная и веселая мать во всем потакала моему ненасытному зрению. Сколько ярких акварелей она писала при мне, для меня! Какое это было откровение, когда из легкой смеси красного и синего вырастал куст персидской сирени в райском цвете! Какую муку и горе я испытывал, когда мои опыты, мои мокрые, мрачно-фиолетово-зеленые картины, ужасно коробились или свертывались, точно скрываясь от меня в другое, дурное, измерение! Как я любил кольца на материнской руке, ее браслеты! Бывало, в петербургском доме, в отдаленнейшей из ее комнат, она вынимала из тайника в стене целую грудку драгоценностей, чтобы позанять меня перед сном. Я был тогда очень мал, и эти струящиеся диадемы и ожерелья не уступали для меня в загадочном очаровании табельным иллюминациям, когда в ватной тишине зимней ночи гигантские монограммы и венцы, составленные из цветных электрических лампочек — сапфирных, изумрудных, рубиновых, — глухо горели над отороченными снегом карнизами домов.

2

Частые детские болезни особенно сближали меня с матерью. В детстве, до десяти что-ли лет, я был отягощен исклю-

чительными, и даже чудовищными, способностями к математике, которые быстро потускнели в школьные годы и вовсе пропали в пору моей, на редкость бездарной во всех смыслах, юности (от пятнадцати до двадцати пяти лет). Математика играла грозную роль в моих ангинах и скарлатинах, когда, вместе с расширением термометрической ртути, беспощадно пухли огромные шары и многочисленные цифры у меня в мозгу. Неосторожный губернёр поторопился объяснить мне — в восемь лет — логарифмы, а в одном из детских моих английских журналов мне попала статья про феноменального индуса, который ровно в две секунды мог извлечь корень семнадцатой степени из такого, скажем, приятного числа, как 3529471145760275132301897342055866171392 (кажется, 212, но это неважно). От этих монстров, откормленных на моем бреду и как бы вытеснявших меня из себя самого, невозможно было отделаться, и в течение безнадежной борьбы я поднимал голову с подушки, силясь объяснить матери мое состояние. Сквозь мои смещенные логикой жара слова, она узнавала всё то, что сама помнила из собственной борьбы со смертью в детстве, и каким-то образом помогала моей разрывающейся вселенной вернуться к Ньютону классическому образцу.

Будущему узкому специалисту-словеснику будет небезынтересно проследить, как именно изменился, при передаче литературному герою (в моем романе «Дар»), случай, бывший и с автором в детстве. После долгой болезни я лежал в постели, размятый, слабый, как вдруг нашло на меня блаженное чувство легкости и покоя. Мать, я знал, поехала купить мне очередной подарок: планомерная ежедневность приношений придавала медленным выздоровлениям и прелесть и смысл. Что предстояло мне получить на этот раз, я не мог угадать, но сквозь магический кристалл моего настроения я со сверхчувственной ясностью видел ее санки, удалявшиеся по Большой Морской, по направлению к Невскому (ныне Проспекту какого-то Октября, куда вливается удивленный Герцен). Я различал всё: гнедого рысака, его храп, ритмический шелк его мощны и твердый стук комьев мерзлой земли и снега об

передок. Перед моими глазами, как и перед материнскими, ширился огромный, в синем сборчатом ватнике, кучерской зад, с путевыми часами в кожаной оправе на кушаке; они показывали двадцать минут третьего. Мать в вуали, в котиковой шубе, поднимала муфту к лицу грациозно-гравюрным движением нарядной петербургской дамы, летящей в открытых санях; петли медвежьей полости были сзади прикреплены к обоим углам низкой спинки, за которую держался, стоя на запятках, выездной с кокардой.

Не выпуская санок из фокуса ясновидения, я остановился с ними перед магазином Треймана на Невском, где продавались письменные принадлежности, аппетитные игральные карты и безвкусные безделушки из металла и камня. Через несколько минут мать вышла оттуда в сопровождении слуги; он нес за ней покупку, которая показалась мне обыкновенным фаберовским карандашом, так что я даже удивился и ничтожности подарка, и тому, что она не может нести сама такую мелочь. Пока выездной запахивал опять полость, я смотрел на пар, выдыхаемый всеми, включая коня. Видел и знакомую ужимку матери: у нее была привычка вдруг надуть губы, чтобы отлепилась слишком тесная вуалетка, и вот сейчас, написав это, нежное сетчатое ощущение ее холодной щеки под моими губами возвращается ко мне, летит, ликуя, стремглав из снежно-синего, синеоконного (еще не спустили штор) прошлого.

Вот она вошла ко мне в спальню и остановилась с хитрой полуулыбкой. В объятьях у нее большой, удлиненный пакет. Его размер был так сильно сокращен в моем видении оттого, может быть, что я делал подсознательную поправку на отвратительную возможность, что от недавнего бреда могла остаться у вещей некоторая склонность к гигантизму. Но нет: карандаш действительно оказался желто-деревянным гигантом, около двух аршин в длину и соответственно толстый. Это рекламное чудовище висело в окне у Треймана как дирижабль, и мать знала, что я давно мечтаю о нем, как мечтал обо всем,

что нельзя было, или несовсем можно было, за деньги купить (приказчику пришлось сначала снестись с неким доктором Либнером, точно дело было и впрямь врачебное). Помню секунду ужасного сомнения: из графита ли острие, или это подделка? Нет, настоящий графит. Мало того, когда несколько лет спустя я просверлил в боку гиганта дырку, то с радостью убедился, что становой графит идет через всю длину: надобно отдать справедливость Фаберу и Либнеру, с их стороны это было сущее «искусство для искусства».

«О, еще бы», говаривала мать, когда бывало я делился с ней тем или другим необычайным чувством или наблюдением, «еще бы, всё это я хорошо знаю»... И с жутковатой простотой она обсуждала телепатию, и сны, и потрескивающие столики, и странные ощущения «уже раз виденного» (*le déjà vu*). Среди отдаленных ее предков, сибирских Рукавишниковых (коих не должно смешивать с известными московскими купцами того же имени), были староверы, и звучало что-то твердо-сектантское в ее отталкивании от обрядов православной церкви. Евангелие она любила какой-то вдохновенной любовью, но в опоре догмы никак не нуждалась; страшная незащитность души в вечности и отсутствие там своего угла просто не интересовали ее. Ее проникновенная и невинная вера одинаково принимала и существование вечного, и невозможность осмыслить его в условиях временного. Она верила, что единственно доступное земной душе, это ловить далеко впереди, сквозь туман и грезу жизни, проблеск чего-то *настоящего*. Так люди, дневное мышление которых особенно неуимчиво, иногда чувствуют и во сне, где-то за щекочущей путаницей и нелепицей видений, — стройную действительность прошедшей и предстоящей яви.

3

Любить всей душой, а в остальном доверяться судьбе, — таково было ее простое правило. «Вот запомни», говорила она, с таинственным видом, предлагая моему вниманию заветную подробность: жаворонка, поднимающегося в мутно-перламут-

ровое небо бессолнечного весеннего дня, вспышки ночных зарниц, снимающих в разных положениях далекую рошу, краски кленовых листьев на палитре мокрой террасы, клинопись птичьей прогулки на свежем снегу. Как будто предчувствуя, что вещественная часть ее мира должна скоро погибнуть, она необыкновенно бережно относилась ко всем вешкам прошлого, рассыпанным и по ее родовому имени, и по соседнему поместью свекрови, и по земле брата за рекой. Ее родители оба скончались, от рака, вскоре после ее свадьбы, а до этого умерло молодыми семеро из девяти их детей, и память обо всей этой обильной далекой жизни, мешаясь с веселыми велосипедами и крокетными дужками ее девичества, украшала мифологическими виньетками Выру, Батово и Рождествено на детальной, но несколько несбыточной карте. Таким образом я унаследовал восхитительную фатаморгану, все красоты неотторжимых богатств, призрачное имущество — и это оказалось прекрасным закалом от предназначенных потерь. Материнские отметины и зарубки были мне столь же дороги, как и ей, так что теперь в моей памяти представлена и комната, которая в прошлом отведена была ее матери под химическую лабораторию, и отмеченный — тогда молодой, теперь почти шестидесятилетней — липою подъем в деревню Грязно, перед поворотом на Даймишенский большак, подъем, столь крутой, что приходилось велосипедистам спешиваться, — где, поднимаясь рядом с ней, сделал ей предложение мой отец, и старая теннисная площадка, чуть ли не каренинских времен, свидетельница благопристойных перекидок, а к моему детству заросшая плеведами и поганками.

Новая теннисная площадка — в конце той узкой и длинной просади черешчатых дубков, о которых я уже говорил — была выложена по всем правилам грунтового искусства рабочими, выписанными из восточной Пруссии. Вижу мать, отдающую мяч в сетку и топающую ножкой в плоской белой туфле. Майерсовское руководство для игры в лаун-теннис перелистывается ветерком на зеленой скамейке. С добросовестными и глупыми усилиями бабочки-белянки пробивают себе путь

в проволочной ограде вокруг корта. Воздушная блуза и узкая пикейная юбка матери (она играет со мной в паре против отца и брата, и я сержусь на ее промахи) принадлежат к той же эпохе, как фланелевые рубашки и штаны мужчин. Поодаль, за цветущим лугом, окружающим площадку, проезжие мужики глядят с почтительным удивлением на резвость господ, точно так же как глядели на волан или серсо в восемнадцатом веке. У отца сильная прямая подача в классическом стиле английских игроков того времени, и сверяясь с упомянутой книгой, он всё справляется у меня и у брата, сошла ли на нас благодать — отзывается ли драйв у нас от кисти до самого плеча, как полагается.

Мать любила и всякие другие игры, особенно же головоломки и карты. Под ее умело витающими руками, из тысячи вырезных кусочков постепенно складывалась на ломберном столе картина из английской охотничьей жизни, и то, что казалось сначала лошадиной ногой, оказывалось частью ильма, а никуда невходившая пупочка (материнское слово для всякой кругловатой штучки) вдруг приходилась к крапчатому крупу, удивительно ладно восполняя пробел — вернее просинь, ибо ломберное сукно было голубое. Эти точные восполнения доставляли мне, зрителю, какое-то и отвлеченное и осязательное удовольствие.

В начале второго десятилетия века у нее появилась страсть к азартным играм, особенно к покеру; последний был занесен в Петербург радением дипломатического корпуса, но, по пути из далекой Америки пройдя через сравнительно близкий Париж, он пришел к нам оснащенный французскими названиями комбинаций, как например, *brelan* и *couleur*. Технически говоря, это был так называемый *draw poker* с довольно частыми *jackpot*'ами и с джокером, заменяющим любую карту. Мать иногда играла до четырех часов утра, и впоследствии вспоминала с наивным ужасом, как шофер дожидался ее всю морозную ночь; на самом деле чай с ромом в сочувственной кухне значительно скрашивал эти вигилии.

Любимейшим ее летним удовольствием было хождение по грибы. В оригинале этой книги мне пришлось подчеркнуть само собою понятное для русского читателя отсутствие гастрономического значения в этом деле. Но, разговаривая с москвичами и другими русскими провинциалами, я заметил, что и они не совсем понимают некоторые тонкости, как например то, что сыроежки, или там рыжики, и вообще все низменные агарики с пластиночной бухтармой совершенно игнорировались знатоками, которые брали только классически просто и округло построенные виды из рода *Boletus*, боровики, подберезовики, подосиновики. В дождливую погоду, особливо в августе, множество этих чудных растений вылезало в парковых дебрях, насыщая их тем сырым, сытным запахом — смесью моховины, прелых листьев и фиалкового перегноя, — от которого вздрагивают и раздуваются ноздри петербуржца. Но в иные дни приходилось подолгу всматриваться и шарить, покуда не сыщется семейка боровичков в тесных чепчиках или мрамористый «гусар», или болотная форма худосочного белесого березовика.

Под морозящим дождиком мать пускалась одна в долгий поход, запасаясь корзинкой — вечно запачканной лиловым снутри от чьих-то черничных сборов. Часа через три можно было увидеть с садовой площадки ее небольшую фигуру в плаще с капюшоном, приближавшуюся из тумана аллеи; бисерная морось на зеленоватобурой шерсти плаща образовывала вокруг нее подобие дымчатого ореола. Вот, выйдя из-под каплюющей и шуршащей сени парка, она замечает меня, и немедленно ее лицо принимает странное, огорченное выражение, которое казалось бы должно означать неудачу, но на самом деле лишь скрывает ревниво сдержанное упоение, грибное счастье. Дойдя до меня, она испускает вздох преувеличенной усталости, и рука и плечо вдруг обвисают, чуть ли не до земли опуская корзинку, дабы подчеркнуть ее тяжесть, ее сказочную полноту.

Около белой, склизкой от сырости, садовой скамейки со спинкой, она выкладывает свои грибы концентрическими кру-

гами на круглый железный стол со сточной дырой посредине. Она считает и сортирует их. Старые, с рыхлым исподом, выбрасываются; молодым и крепким уделяется всяческая забота. Через минуту их унесет слуга в неведомое и неинтересное ей место, но сейчас можно стоять и тихо любоваться ими. Выпадая в червонную бездну из ненастных туч, перед самым заходом, солнце бывало бросало красочный луч в сад, и лоснились на столе грибы: к иной красной или янтарно-коричневой шляпке пристала травинка; к иной подштрихованной, изогнутой ножке прилип родимый мох; и крохотная гусеница геометриды, идя по краю стола, как бы двумя пальцами детской руки всё мерила что-то и изредка вытягивалась вверх, ища никому неизвестный куст, с которого ее сбили.

4

Всё, что относилось к хозяйству занимало мою мать столь же мало, как если бы она жила в гостинице. Не было хозяйственной жилки и у отца. Правда, он заказывал завтраки и обеды. Этот ритуал совершался за столом, после сладкого. Буфетчик приносил черный альбомчик. С легким вздохом, отец раскрывал его и, поразмысливши, своим изящным, плавным почерком вписывал меню на завтра. У него была привычка давать химическому карандашу, или перу-самотеку, быстро-быстро трепетать на воздухе, над самой бумагой, покуда он обдумывал следующую зыбельку слов. На его вопросительные наименования блюд мать отвечала неопределенными кивками или морщилась. Официально в экономках числилась Елена Борисовна, бывшая няня матери, древняя, очень низенького роста старушка, похожая на унылую черепаху, большеногоя, малоголовая, с совершенно потухшим, мутно-карим взглядом и холодной, как забытое в кладовой яблочко, кожей. Про Бову она мне что-то не рассказывала, но и не пила, как пивала Арина Родионовна (кстати, взятая к Олиньке Пушкиной с Суйды, неподалеку от нас). Она была на семьдесят лет старше меня, от нее шел легкий, но нестерпимый запах — смесь кофе и

тлена — и за последние годы в ней появилась патологическая скупость, по мере развития которой был потихоньку от нее введен другой домашний порядок, учрежденный в лакейской. Ее сердце не выдержало бы, узнай она, что власть ее висит в пространстве, с ее же ключничьего кольца, и мать старалась лаской отогнать подозрение, заплывавшее в слабеющий ум старушки. Та правила безраздельно каким то своим, далеким, затхлым, маленьким царством — вполне отвлеченным, конечно, иначе мы бы умерли с голоду; вижу, как она терпеливо топает туда по длинным желтым коридорам, под насмешливым взглядом слуг, унося в тайную кладовую сломанный пети-бер, найденный ею где-то на тарелке. Между тем, при отсутствии всякого надзора над штатом в полсотни с лишком человек, и в усадьбе и в петербургском доме шла веселая воровская свистопляска. По словам пронырливых старых родственниц, за правилами были повар, Николай Андреич, да старший садовник, Егор — оба необыкновенно положительные на вид люди, в очках, с седеющими висками — словом, прекрасно загримированные под преданных слуг. Доносам старых родственниц никто не верил, но увы, они говорили правду. Николай Андреич был закупочным гением, и, как выяснилось однажды, довольно известным в петербургских спиритических кругах медиумом; Егор (до сих пор слышу его черноземно-шпинатный бас, когда он на огороде пытался отвести мое прожорливое внимание от ананасной земляники к простой клубнике) торговал под шумок господскими цветами и ягодами так искусно, что нажил новенький дом на Сиверской: мой дядя Рукавишников как-то ездил посмотреть и вернулся с удивленным выражением. При ровном наплыве чудовищных и необъяснимых счетов, мой отец испытывал, в качестве юриста и государственного человека, особую досаду от неумения разрешить экономические нелады у себя в доме. Но всякий раз как обнаруживалось явное злоупотребление, что-нибудь непременно мешало расправе. Когда здравый смысл велел прогнать жулика-камердинера, тут-то и оказывалось, что его сын, черноглазый мальчик моих лет, лежит при смерти — и всё заслонялось необхо-

димостью консилиума из лучших докторов столицы. Отвлекаемый то тем, то другим, мой отец оставил в конце концов хозяйство в состоянии неустойчивого равновесия, и даже научился смотреть на это с юмористической точки зрения, между тем как мать радовалась что этим потворством спасен от гибели сумасшедший мир старой ее няньки, уносящей в свою вечность по темнеющим коридорам, уже даже не бисквит, а горсть сухих крошек. Мать хорошо понимала боль разбитой иллюзии. Малейшее разочарование принимало у нее размеры роковой беды. Как-то в Сочельник, месяца за три до рождения ее четвертого ребенка, она оставалась в постели из-за легкого недомогания. По английскому обычаю, гувернантка привязывала к нашим кроваткам в рождественскую ночь, пока мы спали, по чулку, набитому подарками, а будила нас по случаю праздника сама мать и, деля радость не только с детьми, но и с памятью собственного детства, наслаждалась нашими восторгами при шуршащем развертывании всяких волшебных мелочей от Пето. В этот раз, однако, она взяла с нас слово, что в девять утра непочатые чулки мы принесем разбирать в ее спальню. Мне шел седьмой год, брату шестой, и, рано проснувшись, я с ним быстро посоветовался, заключил безумный союз, — и мы оба бросились к чулкам, повешенным на изножье. Руки сквозь натянутый уголками и бугорками шелк нащупывали сегменты содержимого, похрустывавшего афишной бумагой. Всё это мы вытащили, развязали, развернули, осмотрели при смугло-снежном свете, проникавшем сквозь складки штор — и, снова запаковав, засунули обратно в чулки, с которыми в должный срок мы и явились к матери. Сидя у нее на освещенной постели, ничем незащищенные от ее довольных глаз, мы попытались дать требуемое публикой представление. Но мы так перемяли шелковистую розовую бумагу, так уродливо перевязали ленточки и так по-любительски изображали удивление и восторг (как сейчас вижу брата, закатывающего глаза и восклицającego с интонацией нашей француженки: «*Ah, que c'est beau!*»), что, понаблюдавши нас с минуту, бедный зритель разразился рыданиями. Прошло десятилетие. В первую миро-

вую войну (Пуанкаре в крагах, слякоть, здравия желаем, бедняжка-наследник в черкеске, крупные, ужасно одетые его сестры в больших застенчивых шляпах, с тысячей своих частных шуточек) моя мать очень добросовестно, но довольно неумело, соорудила собственный лазарет, по примеру других петербургских дам, — и вот помню ее, в ненавистной ей форме сестры, рыдающей теми же детскими слезами над фальшью модного милосердия, над мучительной, каменной, совершенно непроницаемой кротостью искалеченных мужиков. И еще позже — о, гораздо позже — перебирая в изгнании прошлое, она часто винила себя (по-моему — несправедливо), что менее была чутка к обилию человеческого горя на земле, чем к бремени чувств, спихиваемому человеком на все безвинно-безответственное, как например, старые аллеи, старые лошади, старые псы.

Мои тетки критиковали ее пристрастие к коричневым таксам. В фотографических альбомах, подробно иллюстрирующих ее молодые годы, среди пикников, крокетов, это не вышло, спортсменок в рукавах буфами и канотье, старых слуг с руками по швам, ее в колыбели, меня в колыбели, каких-то туманных елок, каких-то комнатных перспектив, — редкая группа обходилась без таксы, с расплывшейся от темперамента задней частью гибкого тела и всегда с тем странным, психопатически-звездным взглядом, который у этой породы бывает на семейных снимках. В раннем детстве я еще застал на садовом угреве Лулу и Бокса Первого, мать и сына, столь дряхлых, что давно забылся кровосмесительный их союз, озадачивший былых детей. Около 1904 года отец привез с Мюнхенской выставки рыжего щенка, из которого выросла, удивительной таксичьей красоты, Трэйни. В 1915 году у нее отнялись задние ноги, и пока мать не решилась ее усыпить, бедная собака уныло ездил по паркетам, как *cul-de-jatte*. Затем кто-то подарил нам внука или правнука чеховских Хины и Брома. Этот окончательный таксик (представляющий одно из немногих звеньев между мною и русскими классиками) последовал за нами в изгнание, и еще в 1930 году в Праге, где моя овдовевшая мать жила на

крохотную казенную пенсию, можно было видеть, ковляющего по тусклой зимней улице, далеко позади своей задумчивой хозяйки, этого старого, всё еще сердитого Бокса Второго — эмигрантскую собаку в длинном проволочном наморднике и за-
платанном пальтеце.

Я жил далеко от матери, в Германии или Франции, и не мог ее часто навещать. Не было меня при ней и когда она умерла, в мае 1939 года. Всякий раз, что удавалось посетить Прагу, я испытывал в первую секунду встречи ту боль, ту растерянность, тот провал, когда приходится сделать усилие, чтобы нагнать время, ушедшее за разлуку вперед, и восстановить любимые черты по нестареющему в сердце образцу. Квартира, которую она делила с внуком и Евгенией Константинов-
ной Г., самым близким ее другом, была до-нельзя убогой. Кле-
енчатые тетради, в которые она списывала в течение многих лет нравившиеся ей стихи, лежали на кое-как собранной, вет-
хой мебели. Ужасно скоро треплющиеся томики эмигрантских изданий соседствовали со слепком отцовской руки. Около ее кушетки, ночью служившей постелью, ящик, поставленный
вверх дном и покрытый зеленой материей, заменял столик, и на нем стояли маленькие мутные фотографии в разваливаю-
щихся рамках. Впрочем она едва ли нуждалась в них, ибо ори-
гинал жизни не был утерян. Как бродячая трупка всюду возит с собой, поскольку не забыты реплики, и дюны под бурей, и замок в тумане, и очарованный остров, — так носила она в себе всё, что душа отложила про этот серый день. Совершенно ясно вижу ее, сидящую за чайным столом и тихо созерцающую, с одной картой в руке, какую-то фазу в раскладке пасьянса; другой рукой она облокотилась об стол, и в ней же, прижав сгиб большого пальца к краю подбородка, держит близко ко рту папиросу собственной набивки. На четвертом пальце пра-
вой руки — теперь опускающей карту — горит блеск двух золотых колец: обручальное кольцо моего отца, слишком для нее широкое, привязано черной ниточкой к ее собственному кольцу.

Когда мне снятся умершие, они всегда молчаливы, озабо-

чены, смутно подавлены чем-то, хотя в жизни именно улыбка была сутью их дорогих черт. Я встречаюсь с ними без удивления, в местах и обстановке, в которых они никогда не бывали при жизни — например, в доме у человека, с которым я познакомился только потом. Они сидят в сторонке, хмуро опустив глаза, как если бы смерть была темным пятном, постыдной семейной тайной. И конечно не там и не тогда, не в этих косматых снах, дается смертному редкий случай заглянуть за свои пределы, а дается этот случай нам на яву, когда мы в полном блеске сознания, в минуты радости, силы и удачи — на мачте, на перевале, за рабочим столом... И хоть мало различаешь во мгле, все же блаженно верится, что смотришь туда, куда нужно.

Глава Третья

1

Восемнадцать лет покинув Петербург, я (вот пример галлицизма) был слишком молод в России, чтобы проявить какое-либо любопытство к моей родословной; теперь я жалею об этом — из соображений технических: при отчетливости личной памяти неотчетливость семейной отражается на равновесии слов. Уже в эмиграции кое-какими занятыми сведениями снабдил меня двоюродный мой дядюшка Владимир Викторович Голубцов, большой любитель таких изысканий. У него получалось, что старый дворянский род Набоковых произошел не от каких-то псковичей, живших как-то там в сторонке, *на обочье*, и не от кривобокого, *набокого*, как хотелось бы, а от обрусевшего шестьсот лет тому назад татарского князька по имени Набок. Бабка же моя, мать отца, рожденная баронесса Корф, была из древнего немецкого (вестфальского) рода и находила простую прелесть в том, что в честь предка-крестоносца был будто бы назван остров Корфу. Корфы эти обрусели еще в восемнадцатом веке, и среди них энциклопедии отмечают много

видных людей. По отцовской линии мы состоим в разнообразном родстве или свойстве с Аксаковыми, Шишковыми, Пушчными, Данзасами. Думаю, что было уже почти темно, когда по скрипучему снегу внесли раненого в геккернскую карету. Среди моих предков много служилых людей; есть усыпанные бриллиантовыми знаками участники славных войн; есть сибирский золотопромышленник и миллионщик (Василий Рукавишников, дед моей матери, Елены Ивановны); есть ученый президент медико-хирургической академии (Николай Козлов, другой ее дед); есть герой Фридляндского, Бородинского, Лейпцигского и многих других сражений, генерал от инфантерии Иван Набоков (брат моего прадеда), он же директор Чесменской богадельни и комендант С.-Петербургской крепости — той, в которой сидел супостат Достоевский (рапорты доброго Ивана Александровича царю напечатаны — кажется, в Красном Архиве); есть министр юстиции Дмитрий Николаевич Набоков (мой дед); и есть, наконец, известный общественный деятель Владимир Дмитриевич (мой отец).

Набоковский герб изображает собой нечто вроде шашечницы с двумя медведями, держащими ее с боков: приглашение на шахматную партию, у камина, после облавы в майоратском бору: рукавишниковский же, поновее, представляет стилизованную домну. Любопытно, что уральские прииски, Алапаевские заводы, аллитеративные пай в них — всё это давно уже рухнуло, когда, в тридцатых годах сего века, в Берлине, многочисленным потомкам композитора Грауна (главным образом каким-то немецким баронам и итальянским графам, которым чуть не удалось убедить суд, что все Набоковы вымерли) досталось, после всех девальваций, кое-что от замаринованных впрок доходов с его драгоценных табакерок. Этот мой предок, Карл-Генрих Граун (1701-1759), талантливый карьерист, автор известной оратории «Смерть Иисуса», считавшейся современными ему немцами непревзойденной, и помощник Фридриха Великого в писании опер, изображен с другими приближенными (среди них — Вольтер) слушающим королевскую флейту, на пресловутой картине Менцеля, которая преследовала меня,

эмигранта, из одного берлинского пансиона в другой. В молодости Граун обладал замечательным тенором; однажды, выступая в какой-то опере, написанной брауншвейгским капельмейстером Шурманом, он на премьере заменил непонравившиеся ему места ариями собственного сочинения. Только тут чувствую какую-то вспышку родства между мной и этим благополучным музыкальным деятелем. Гораздо ближе мне другой мой предок, Николай Илларионович Козлов (1814-1889), патолог, автор таких работ как «О развитии идеи болезни» или «Сужение яремной дыры у людей умопомешанных и самоубийц» — в каком-то смысле служащих забавным прототипом и литературных и лепидоптерологических моих работ. Его дочь Ольга Николаевна была моей бабушкой; я был младенцем, когда она умерла. Его другая дочь, Прасковья Николаевна, вышла за знаменитого сифилитолога Тарновского и сама много писала по половым вопросам; она умерла в 1913 году, кажется, и ее странные, ясно произнесенные последние слова были: «Теперь понимаю: всё — вода». О ней и о разных диковинных, а иногда и страшных, Рукавишниковых у матери было много воспоминаний... Я люблю сцепление времен: когда она гостила девочкой у своего деда, старика Василья Рукавишникова, в его крымском имении, Айвазовский, очень посредственный, но очень знаменитый маринист того времени, рассказывал в ее присутствии, как он, юношей, видел Пушкина и его высокую жену, и пока он это рассказывал, на серый цилиндр художника белилами испражнилась пролетающая птица; его моря темно сизели по разным углам петербургского (а после — деревенского) дома, и Александр Бенуа, проходя мимо них и мимо мертвеины своего брата-академика Альберта, и мимо «Проталины» Крыжицкого, где не таяло ничего, и мимо громадного прилизанного Перовского «Прибоя» в зале, делал шоры из рук и как-то музыкально-смугло мычал «*Non, non, non, c'est affreux*, какая сушь, задерните чем-нибудь» — и с облегчением переходил в кабинет моей матери, где его, действительно прелестные, дождем набухшая «Бретань» и рыже-зеленый «Версаль» соседствовали с «вкусными», как тогда говорилось,

«Турками» Бакста и сомовской акварельной «Радугой» среди мокрых берез.

2

Две баронессы Корф оставили след в судебных летописях Парижа: одна, кузина моего пра-пращура, женатого на дочке Грауна, была та русская дама, которая, находясь в Париже в 1791 году, одолжила и паспорт свой и дорожную карету (только-что сделанный на заказ, великолепный, на высоких красных колесах, обитый снутри белым утрехтским бархатом, с зелеными шторами и всякими удобствами, шестиместный берлин) королевскому семейству для знаменитого бегства в Варенн (Мария Антуанетта ехала как Мадам де Корф, или как ее камеристка, король — не то как гувернер ее двух детей, не то, как камердинер). Другая, моя прабабка, полвека спустя, была причастна менее трагическому маскараду, а вычитал я эту историю из довольно пошлого французского журнала *''Illustration''* за 1859 год, стр. 251. Граф де Морни давал бал-маскарад; на него он пригласил — цитирую источник — *''une noble dame que la Russie a prêtée cet hiver à la France''*, баронессу Корф с двумя дочками. Мужа, Фердинанда Корфа, (1805-1869, праправнука Грауна по женской линии), повидимому не было близко, но зато тут находился друг дома и жених одной из дочек (Марии Фердинандовны, 1842-1926), а мой будущий дед, Дмитрий Набоков (1827-1904). Для девиц были заказаны к балу костюмы цветочниц, по 225 франков за каждый, что тогда представляло, по явно подрывательски-марксистскому замечанию репортера, шестьсот сорок три дня *''de nourriture, de loyer et d'entretien du père Crépin''* (стоимости пропитания, жилья и обуви): видимо рабочему человеку жилось тогда дешево. Однако баронессе костюмы показались слишком открытыми, и она отказалась принять их. Портниха прислала *''huissier''* — судебного пристава, после чего моя прабабка, женщина страстного нрава (и не столь добродетельная, как можно было бы заключить из ее возмущения низким вырезом) подала на портниху в суд, жалуясь, что наглые мамзели, принесшие наряды, в ответ на

ее слова, что такие декольте не подходят благородным девицам, *"se sont permis d'exposer des théories égalitaires du plus mauvais goût"* (позволили себе высказать превульгарные демократические теории). К этому она добавляла, что поздно было заказывать другие костюмы — и рыдающие дочери не пошли на бал; что пристав и его сподручные развалились в креслах, предоставив дамам стулья; а главное, что этот пристав смел грозить арестом господину Набокову, *"Conseiller d'Etat, homme sage et plein de mesure"* (статскому советнику, человеку рассудительному и уравновешенному) только потому, что тот попробовал пристава выбросить из окна. Не знаю, как это случилось, но портниха дело проиграла, при чем ей не только пришлось вернуть деньги за костюмы, но еще отвалить истине тысячу франков за моральный ущерб. Счет же за дивную колымагу, поданный каретником весной 1791 года (5944 ливров), так и остался неоплаченным.

В 1878 году Дмитрий Николаевич был назначен министром юстиции. Одной из заслуг его считается закон 12 июня 1884 года, который на время прекратил натиск на суд присяжных со стороны реакционеров. Когда в 1885 году он вышел в отставку, Александр Третий ему предложил на выбор либо графский титул, либо денежное вознаграждение; благоразумный Набоков выбрал второе. В том же году «Вестник Европы» выразился о его деятельности так: «Он действовал как капитан корабля во время сильной бури — выбросил за борт часть груза, чтобы спасти остальное», — что в отношении контрапункта изящно перекликается с началом его карьеры, когда будущий законник чуть не выбросил сгоряча представителя закона за окно.

К концу жизни рассудок Дмитрия Николаевича помутился, он понимал что тяжело болен, но верил, что всё образуется, коль скоро он останется жить на Ривьере; врачи же полагали, что ему нужен горный или северный климат. Где-то в Италии он бежал из-под надзора доктора и довольно долго блуждал, как некий Лир, понося детей своих на радость случайным про-

хожим. В 1903 году моя мать, единственный человек, с чьим присмотром он мирился, ходила за ним в Ницце; брат и я — ему шел четвертый, а мне пятый год — жили там же, с англичанкой мисс Норкот. Помню, как в блеске утра оконницы дребезжали на упругом морском ветру, и какая это была чудовищная, ни с чем несравнимая, боль, когда капля растопленного сургуча упала мне на руку. При помощи свечки, пламя которой было изумительно бледно на солнце, заливавшем каменные плиты, я только что так хорошо занимался превращением плавких колоритных брусков в дивно пахнущие, карминовые, изумрудные, бронзовые кляксы. Мисс Норкот была в саду с братом; на мой истошный рев прибежала, шурша, мама, и где-то поодаль, на той же или смежной террасе, мой дед в двухколесном кресле бил концом трости по звонким плитам. Ей приходилось с ним нелегко. Он бранился похабными словами. Служителя, катившего его по *Promenade des Anglais* он всё принимал за нелюбимого сослуживца — Лорис-Меликова, умершего пятнадцать лет тому назад в той же Ницце. "Qui est cette femme? Chassez-la!", кричал он моей матери, указывая трясущимся перстом на бельгийскую или голландскую королеву, остановившуюся, чтобы справиться о его здоровье. Смутно вижу себя подбегающим к его креслу, чтобы показать ему красивый камушек — который он медленно осматривает и медленно кладет себе в рот. Ужасно жалею, что мало расспрашивал мать впоследствии об этой странной поре на начальной границе моего сознания и на конечном пределе сознания дедовского.

Всё дольше и дольше становились припадки забытья. Во время одного такого затмения всех чувств он был перевезен в Россию. Моя мать закамуфлировала комнату под его спальню в Ницце. Подыскали похожую мебель, наполнили вазы выписанными с юга цветами и тот уголок стены (мне особенно нравится эта подробность), который можно было наискось разглядеть из окна, покрасили в блестяще белый цвет, так что при каждом временном прояснении рассудка больной видел себя в безопасности, среди блеска и мимоз иллюзорной Ривьеры, художественно представленной моей матерью, и умер он мирно,

не слыша голых русских берез, шумящих мартовским прутяным шорохом вокруг дома.

3

Отец вырос в казенных апартаментах против Зимнего Дворца. У него было три брата, Дмитрий (женатый первым браком на Фальц-Фейн), Сергей (женатый на Тучковой) и Константин (к женщинам равнодушный, чем поразительно отличался от всех своих братьев). Из пяти их сестер Наталья была за Петерсеном, Вера — за Пыхачевым, Нина — за бароном Раушем фон Траубенберг (а затем за адмиралом Коломейцевым), Елизавета — за князем Витгенштейном, Надежда — за Вонлярлярским. К началу второго десятилетия века у меня было так сказать данных, т. е. вошедших в сферу моего родового сознания и установившихся там знакомым звездным узором, тринадцать двоюродных братьев (с большинством из которых я был в разное время дружен) и шесть двоюродных сестер (в большинство из которых я был явно или тайно влюблен). С некоторыми из этих семейств, по взаимной ли симпатии или по соседству земель, мы виделись значительно чаще, чем с другими. Пикники, спектакли, бурные игры, наш таинственный вырский парк, прелестное бабушкино Батово, великолепные витгенштейновские имения — Дружноселье за Сиверской и Каменка в Подольской губернии — всё это осталось идиллически гравюрным фоном в памяти, находящей теперь схожий рисунок только в совсем старой русской литературе.

4

Со стороны матери у меня был всего один близкий родственник — ее единственный оставшийся в живых брат Василий Иванович Рукавишников; был он дипломат, как и его свояк Константин Дмитриевич Набоков, которого я упомянул выше и теперь хочу подробнее воскресить в мыслях, — до вызова более живого, но в грустном и тайном смысле одностихийного, образа Василья Ивановича.

Константин Дмитриевич был худошавый, чопорный, с тревожными глазами, довольно меланхоличный холостяк, живший на клубной квартире в Лондоне, среди фотографий каких-то молодых английских офицеров, и не очень счастливо воевавший с соперником по посольскому первенству Саблиным. Ответив как-то «Нет, спасибо, мне тут рядом», а в другом случае изменив планы и возвратив билет, он дважды в жизни избег необыкновенной смерти: первый раз, в Москве, когда его предложил подвести вел. кн. Сергей Александрович, обреченный через минуту встретиться с Каляевым, и другой раз, когда он собрался было плыть в Америку на Титанике, обреченном встретиться с айсбергом. Умер он в двадцатых годах от скозняка в продувном лондонском гошпитале, где поправлялся после легкой операции. Он опубликовал довольно любопытные «Злоключения Дипломата» и перевел на английский язык «Бориса Годунова». Однажды, в 1940 году, в Нью-Йорке, где сразу по прибытии в Америку мне посчастливилось окунуться в сущий рай научных исследований, я спустился по лифту с пятого этажа Американского Музея Естествоведения, где проводил целые дни в энтомологической лаборатории, и вдруг — с мыслью, что может быть я переутомил мозг — увидел свою фамилию, выведенную большими золотыми русскими литерами на фресковой стене в вестибюльном зале. При более внимательном рассмотрении фамилья приложилась к изображению Константина Дмитриевича: молодой, прикрашенный, с эспаньолкой, он участвует, вместе с Витте, Коростовцом и японскими делегатами, в подписании Портсмутского мира под благодушной эгидой Теодора Рузвельта — в память которого и построен музей. Но вот Василий Иванович Рукавишников нигде не изображен, и тут наступает его очередь быть обрисованным хотя бы моими цветными чернилами.

Его александровских времен усадьба, белая, симметричнокрылая, с колоннами и по фасаду и по антифронтону, высилась среди лип и дубов на крутом муравчатом холму за рекой Ордежью, против нашей Выры. В раннем детстве *uncle Vassya* и всё, что принадлежало ему, множество фарфоровых пятнистых

кошек в зеркальном предзальнике его дома, его перстни и запонки, невероятные фиолетовые гвоздики в его оранжерее, урны в романтическом парке, целая роща черешен, застекленная в защиту от климата петербургской губернии, и самая тень его, которую, применяя секретный, будто бы египетский, фокус, он умел заставлять извиваться на песке без малейшего движения со стороны собственной фигуры, — всё это казалось мне причастным не к взрослому миру, а к миру моих заводных поездов, клаунов, книжек с картинками, всяких детских одушевленных вещиц, и такое бывало чувство, как когда в нарядном заграничном городе, под лучистым от уличных огней дождем, вдруг набредешь, ребенком, в коричневых лайковых перчатках, на совершенно сказочный магазин игрушек или бабочек. Наезжал он в Россию только летом, да и то не всякий год, и тогда поднимался фантастических цветов флаг на его доме, и почти каждый день, возвращаясь с прогулки, я мог видеть, как его коляска прокатывает через мост на нашу сторону и летит вдоль ельника парка. За завтраком у нас всегда бывало много народу, потом всё это переходило в гостиную или на веранду, а он, задержавшись в опустевшей солнечной столовой, садился на венский стул, стоявший на своем решетчатом отражении, брал меня на колени и со всякими смешными словечками ласкал милого ребенка, и почему-то я бывал рад, когда голос отца издали звал: «Вася, *on vous attend*», — и тут же слуги с наглыми лицами убирали со стола, и страдая, Елена Борисовна норовила из-под них вытащить, чтобы унести и спрятать, пол-яблока, булочку, одинокую в луже редиску. Как-то, после перерыва в полтора года, я с братом и гувернером поехал встречать его на станцию. Мне должно быть шел одиннадцатый год, и вот вздохнули и стали длинные карие вагоны Норд-Экспресса, который дядя подкупал, чтобы тот останавливался на дачной станции, и страшно быстро из багажного выносились множество его сундуков, — и вот он сам сошел по приставленным ковровым ступенькам, и мельком взглянув на меня, проговорил "*Que vous êtes devenu jaune et laid, mon pauvre garçon!*" (как ты пожелтел, как подурнел, бедняга). В день же

пятнадцатых моих именин, он отвел меня в сторону и довольно хмуро, на своем порывистом, точном, старомодном французском языке, объявил мне, что делает меня своим наследником. Он добавил, что сожжет усадьбу до тла, ежели немцы — это было в 1914 году — когда-либо дойдут до наших мест. «А теперь», — сказал он, — «можешь идти, аудиенция кончена, *je n'ai plus rien à vous dire*».

Вижу, как на картине, его небольшую, тонкую, аккуратную фигуру, смугловатое лицо, серо-зеленые со ржавой искрой глаза, темные пышные усы, темный бобр; вижу и очень подвижное между крахмальными отворотцами адамово яблоко, и змеобразное, с опалом, кольцо вокруг узла светлого галстука. Опалы носил он и на пальцах, а вокруг черно-волосатой кисти — золотую цепочку. В петлице бледно-сизого, или еще какого-нибудь нежного оттенка, пиджака почти всегда была гвоздика, которую он бывало быстро нюхал — движением птицы, вздумавшей вдруг обшарить клювом плечевой пух. Как я говорил, он появлялся у нас в деревне только летом (помню не больше двух-трех заграничных с ним встреч), и сквозь этот-то жаркий перелив в дорогом камне минувшего времени, мне теперь и представляется он — вот опустился на ступень веранды для еще одного снимка (как любили сниматься тогда, как пытались задержать уходящее!) и сидит с тенью лавров на белой фланели штанов, с руками, сложенными на набалдашнике трости, с солнцем на выпуклом, веснушчатом лбу в ореоле далеко назад сдвинутого канотье.

Осенью он возвращался за границу, в Рим, Париж, Биарриц, Лондон, Нью-Йорк; в свои южные именья — итальянскую виллу, пиренейский замок около *Rau*; и была знаменитая в летописях моего детства поездка его в Египет, откуда он мне ежедневно посылал глянцевитые открытки с большеногими фараонами сидящими рядом и вечерними отражениями силуэтных пальм в розовом Ниле, через который резко и неопратно шел его странно-некрасивый, весь в углах, дикий, *вопящий* какой-то, т. е. совсем непохожий на него самого, почерк. И опять в июне, на восхитительном нашем севере, когда весело

цветла имени безумного Батюшкова млечная черемуха, и солнце припекало после очередного ливня, крупные, изсиня-черные с белой перевязью бабочки (восточный подвид тополевой нимфы) низко плавали кругами над лакомой грязью дороги, с которой их спугивала его мчавшаяся к нам коляска. С обещанием дивного подарка в голосе, жеманно переступая маленькими своими ножками в белых башмаках на высоких каблуках, он подводил меня к ближайшей липке и, изящно сорвав листок, протягивал его со словами: *''Pour mon neveu, la chose la plus belle au monde — une feuille verte''*. Или же из Нью-Йорка он мне привозил собранные в книжки цветные серии — смешные приключения *Buster Brown*'а, теперь забытого мальчика в красноватом костюме с большим отложным воротником и черным бантом; если очень близко посмотреть, можно было различить совершенно отдельные малиновые точки, из которых составлялся цвет его блузы. Каждое приключение кончалось для маленького Брауна феноменальной поркой, причем его мать, дама с осиной талией и тяжелой рукой, брала, что попало — туфлю, щетку для волос, разламывающийся от ударов зонтик, даже дубинку услужливого полисмена, — и какие тучи пыли выколачивала она из жертвы, ничком перекинутой через ее колени! Так как меня в жизни никто никогда не шлепал, эти истязания казались мне диковинной, экзотической, но довольно однообразной пыткой — менее интересной, чем, скажем, закапыванье врага с выразительными глазами по самую шею в песок кактусовой пустыни, как было показано на заглавном офорте одного из лондонских изданий Майн-Рида.

5

Василий Иванович вел праздную и беспокойную жизнь. Дипломатические занятия его, главным образом при нашем посольстве в Риме, были довольно туманного свойства. Он говорил, впрочем, что мастер разгадывать шифры на пяти языках. Однажды мы подвергли его испытанию, и, в самом деле, он очень быстро обратил «5.13 24.11 13.16 9.13.5 5.13 24.11»

в начальные слова известного монолога Гамлета. В розовом фраке, верхом на взмывающей через преграды громадной гнедой кобыле, он участвовал в лисьих охотах в Италии, в Англии. Закутанный в меха он однажды попытался проехать на автомобиле из Петербурга в По, но завяз в Польше. В черном плаще (спешил на бал) он летел на фанерно-проволочном аэроплане и едва не погиб, когда аппарат разбился о Бискайские скалы (я все интересовался, как реагировал, очнувшись, несчастный летчик, сдававший машину. *"Il sanglotait"*, — подумавши, ответил дядя). Он писал романы — мелодически-журчущую музыку и французские стихи, при чем хладнокровно игнорировал все правила насчет учета немого *"e"*. Он был игрок, и исключительно хорошо блефовал в покере.

Его изъяды и странности раздражали моего полнокровного и прямолинейного отца, который был очень сердит, например, когда узнал, что в каком-то иностранном притоне, где молодого Г., неопытного и небогатого приятеля Василья Ивановича, обыграл шулер, Василий Иванович, знавший толк в фокусах, сел с шулером играть и преспокойно передернул, чтобы выручить приятеля. Страдая нервным заиканьем на губных звуках, он не задумался переименовать своего кучера Петра в Льва — и мой отец обозвал его крепостником. По-русски Василий Иванович выражался с нарочитым трудом, предпочитая для разговора замысловатую смесь французского, английского и итальянского. Всякий его переход на русский служил средством к издевательству, заключавшемуся в том, чтобы исковеркать или некстати употребить простонародный оборот, прибаутки, красное словцо. Помню, как за столом, подытоживая всяческие свои горести — замучила сенная лихорадка, улетел один из павлинов, пропала любимая борзая — он вздыхал и говорил: *«Je suis comme une* былинка в поле!» — с таким видом точно и впрямь могла такая поговорка существовать.

Он уверял, что у него неизлечимая болезнь сердца, и что для облегчения припадков ему необходимо бывает лечь навзничь на пол. Никто, даже мнительная моя мать, этого не принимал всерьез, и когда зимой 1916 года, всего сорока пяти лет

от роду, он действительно помер от грудной жабы — совсем один, в мрачной лечебнице под Парижем — с каким щемящим чувством вспомнилось то, что казалось пустым чудачеством, глупой сценой — когда бывало входил с послеобеденным турецким кофе на расписанном пионами подносе непредупрежденный буфетчик, и мой отец косился с досадой на распростертое посреди ковра тело шурина, а затем, с любопытством, на начавшуюся пляску подноса в руках у всё еще спокойного на вид слуги.

От других, более сокровенных терзаний, донимавших его, он искал облегчения — если я правильно понимаю эти странные вещи — в религии: сначала, кажется, в какой-то отрасли русского сектанства, а потом повидимому в католичестве; лет за пять до его смерти моя мать и кузина отца Екатерина Дмитриевна Данзас однажды не могли заснуть в своем отделении от рокота и рева латинских гимнов, заглушавших шум поезда — и несколько опешили, узнав, что это поет на сон грядущий Василий Иванович в смежном купе. А помощь ему с его натурой была верно до крайности нужна. Его красочной неврастении подобало бы совмещаться с гением, но он был лишь светский дилетант. В юные годы он много натерпелся от Ивана Васильевича, его странного, тяжелого, безжалостного к нему отца. На старых снимках это был благообразный господин с цепью мирового судьи, а в жизни тревожно-размашистый чудак с дикой страстью к охоте, с разными затеями, с собственной гимназией для сыновей, где преподавали лучшие петербургские профессора, с частным театром, на котором у него играли Варламов и Давыдов, с картинной галлереей на три четверти полной всякого темного вздора. По позднейшим рассказам матери, бешеный его нрав угрожал чуть ли не жизни сына, и ужасные сцены разыгрывались в мрачном его кабинете. Рождественская усадьба — купленная им собственно для старшего, рано умершего, сына — была, говорили, построена на развалинах дворца, где Петр Первый, знавший толк в отвратительном тиранстве, заточил Алексея. Теперь это был очаровательный, необыкновенный дом. По истечении почти сорока лет я без труда

восстанавливаю и общее ощущение и подробности его в памяти: шашечницу мраморного пола в прохладной и звучной зале, небесный сверху свет, белые галлерейки, саркофаг в одном углу гостиной, орган в другом, яркий запах тепличных цветов повсюду, лиловые занавески в кабинете, рукообразный предмет из слоновой кости для чесанья спины — и уже относящуюся к другой главе в этой книге, незабвенную колоннаду заднего фасада, под романтической сенью которой сосредоточились в 1915 году счастливейшие часы моей счастливой юности.

После 1914 года я больше его не видал. Он тогда в последний раз уехал за границу и спустя два года там умер, оставив мне миллионное состояние, и петербургское свое имение Рождествено с этой белой усадьбой на зеленом холму, с дремучим парком за ней, с еще более дремучими лесами, синеющими за нивами и с несколькими стами десятин великолепных торфяных болот, где водились замечательные виды северных бабочек да всякая аксаковско-тургеневско-толстовская дичь. Не знаю, как в настоящее время, но до Второй Мировой Войны дом, по донесениям путешественников, всё еще стоял на художественно-исторический показ иностранному туристу, проезжающему мимо моего холма по варшавскому шоссе, где — в шестидесяти верстах от Петербурга — расположено за одним рукавом реки Оредежь село Рождествено, а за другим — наша Выра. Река местами подернута парчей нитчатки и водяных лилий, а дальше, по ее излучинам, как бы вырастают в облачно-голубую воду совершенно черные отражения еловой глуши по верхам крутых красных берегов, откуда вылетают из своих нор стрижи, и веет черемухой; и если двигаться вниз, вдоль вырского нашего парка, достигаешь, наконец, плотины водяной мельницы — и тут, когда смотришь через перила на бурно текущую пену, такое бывает чувство точно плывешь всё назад да назад, стоя на самой корме времени.

В сем месте американской и великобританской версий нынешней книги, в назидание беспечному иностранцу, получившему в свое время через умных пропагандистов и дураков-попутчиков чисто советское представление о нашем русском прошлом (или просто потерявшему деньги в каком-нибудь местном банковском крахе и потому полагающему, что «понимает» меня), я позволил себе небольшое отступление, которое привожу здесь только для полноты; суть его покажется слишком очевидной русскому читателю — по крайней мере свободному русскому читателю моего поколения:

«Мое давнишнее расхождение с советской диктатурой никак не связано с имущественными вопросами. Презираю россиянина-зубра, ненавидящего коммунистов потому, что они, мол, украли у него деньжата и десятины. Моя тоска по родине лишь своеобразная гипертрофия тоски по утраченному детству».

И еще:

Выговариваю себе право тосковать по экологической нише — в горах Америки моей вздыхать о северной России.

Мне было семнадцать лет; вторая любовь и первые паузы занимали все мои досуги, о материальном строе жизни я не помышлял — да и на фоне общего благополучия семьи никакое наследство не могло особенно выделиться; но теперь мне вчуже странно, и даже немного противно, думать, что в течение короткого года, пока я владел этим обреченным наследством, я слишком был поглощен общими местами юности — уже терявшей свою первородную самоцветность — чтобы испытать какое-либо добавочное удовольствие от вещественного владения домом и дачами, которыми и так владела душа, или какую-либо досаду, когда большевицкий переворот это вещественное владение уничтожил в одну ночь. Мне это про-

тивно — точно я поступил неблагодарно по отношению к дяде Васе, взглянул на него, чудака, с улыбкой снисхождения, с которой на него смотрели даже те, кто его любил. И уже с совершенной обидой вспоминаю, как наш швейцарец гувернер, коренастый и обычно добродушный Нуазье, брызгал ядовитым сарказмом разбирая однажды французские стихи и музыку дяди — «*Octobre*» — лучший его романс. Он сочинил эту может быть и банальную, но певуче-ручьистую вещь как-то осенью, в своем замке около По, в Нижних Пиренеях, недалеко, помнится, от имения Ростана, мимо которого мы проезжали по дороге из Биаррица. Замок назывался Перпинья, — он его завещал какому-то итальянцу. Глядя с террасы на виноградники, желтеющие внизу по скатам, на горы, лиловеющие вдаль, терзаемый астмой, сердечными перебоями, ознобом, каким-то прустовским обнажением всех чувств (он лицом несколько походил на Пруста), бедный Рука — как звали его друзья-иностранцы — отдал мучительную дань осенним краскам — *’chapelle ardente de feuilles aux tons violents’*, как выпелось у него, — и единственный кто запомнил романс от начала до конца был мой брат, непривлекательный тогда увалень в очках, которого Василий Иванович едва замечал, и который за смертью не может ныне помочь мне восстановить забытые мною слова.

L'air transparent fait monter de la plaine... — высоким тенором пел Василий Иванович, приехавший к завтраку, а пока что присевший у белого рояля, наполовину отраженного в левом паркете вырской гостиной — и ежели я, со своей рампеткой из зеленой кисеи, шел в эту минуту домой через парк (вдоль которого по ломаной линии молодого ельника только что пронесся ассирийский профиль дядиного кучера, — бархатный бюст, малиновые рукава, — и дядино канотье) ужасно жалобные переливчатые звуки: *un vol de tourterelles strie le ciel tendre, les chrysanthèmes se parent pour la Toussaint*, доплывали до меня в петлистых тенях дышащей в такт аллеи, и в ее конце открывался мне красный песок садовой площадки с углом зеленой усадьбы, из бокового окна которой, как из раны, лилась эта музыка, это пенье.

Заклинать и оживлять былое я научился Бог весть в какие ранние годы — еще тогда, когда в сущности никакого былого и не было. Эта страстная энергия памяти не лишена, мне кажется, патологической подоплеки — уж чересчур ярко воспроизводятся в наполненном солнцем мозгу разноцветные стекла веранды, и гонг зовущий к завтраку, и то, что всегда тронешь проходя — пружинистое круглое место в голубом сукне карточного столика, которое при нажатии большого пальца с приятной спазмой мгновенно выгоняет тайный ящичек, где лежат красные и зеленые фишки и какой-то ключик, отделенный навеки от всеми забытого, может быть и тогда уже несуществовавшего замка. Полагаю, кроме того, что моя способность держать при себе прошлое — черта наследственная. Она была и у Рукавишниковых и у Набоковых. Было одно место в лесу на одной из старых троп в Батово, и был там мосток через ручей, и было подгнившее бревно с края, и была точка на этом бревне, где пятого по старому календарю августа 1883 года вдруг села, раскрыла шелковисто-багряные с павлиньими глазками крылья и была поймана ловким немцем-гувернером этих предыдущих набоковских мальчиков исключительно редко попадавшаяся в наших краях ванесса. Отец мой как-то даже горячился, когда мы с ним задерживались на этом мостике, и он перебирал и разыгрывал всю сцену с начала, как бабочка сидела дыша, как ни он, ни братья не решались ударить рампеткой, и как в напряженной тишине немец ощупью выбирал у него из руки сачек, не сводя глаз с благородного насекомого.

На адриатической вилле, которую летом 1904 года мы делили с Петерсенами (я узнаю ее до сих пор по большой белой башне на видовых открытках Аббации), предаваясь мечтам во время сиесты, при спущенных шторах, в детской моей постели, я бывало поворачивался на живот, — и старательно, любовно, безнадежно, с художественным совершенством в подробностях (трудно совместимым с нелепо малым числом со-

знательных лет), пятилетний изгнанник чертил пальцем на подушке дорогу вдоль вырского парка, лужу с сережками и мертвым жуком, зеленые столбы и навес подъезда, все ступени его и непременно почему-то блестящую между колеями драгоценную конскую подкову вроде той, что посчастливилось мне раз найти — и при этом у меня разрывалась душа, как и сейчас разрывается. Объясните-ка вы, нынешние шуты-психологи, эту пронзительную репетицию ностальгии!

А вот еще помню. Мне лет восемь. Василий Иванович поднимает с кушетки в нашей классной книжку из серии *Bibliothèque Rosc*. Вдруг блаженно застонав он находит в ней любимое им в детстве место: "*Sophie n'était pas jolie...*"; и через сорок лет я совершенно так же застонал, когда в чужой детской случайно набрел на ту же книжку о мальчиках и девочках, которые сто лет тому назад жили во Франции тою стилизованной *vie de château*, на которую *Mme de Ségur, née Rastopchine* добросовестно перекладывала свое детство в России, — почему и налаживалась, несмотря на вульгарную сентиментальность всех этих "*Les Malheurs de Sophie*", "*Les Petites Filles Modèles*", "*Les Vacances*", тонкая связь с русским усадьбным бытом. Но мое положение сложнее дядино, ибо когда читаю опять, как Софи остригла себе брови, или как ее мать в необыкновенном кринолине на приложенной картинке необыкновенно аппетитными манипуляциями вернула кукле зрение, и потом с криком утонула во время кораблекрушения по пути в Америку, а кузен Поль, под необитаемой пальмой высосал из ноги капитана яд змеи — когда я опять читаю всю эту чепуху, я не только переживаю щемящее упоение, которое переживал дядя, но еще ложится на душу мое воспоминание о том, как он это переживал. Вижу нашу деревенскую классную, бирюзовые розы обоев, угол изразцовой печки, отворенное окно: оно отражается вместе с частью наружной водосточной трубы в овальном зеркале над канаве, где сидит дядя Вася, чуть ли не рыдая над растрепанной розовой книжкой. Ощущение предельной беззаботности, благоденствия, густого летнего тепла затопляет память и образует такую сверкающую

действительность, что по сравнению с ней паркерово перо в моей руке, и самая рука с глянцем на уже веснушчатой коже, кажутся мне довольно аляповатым обманом. Зеркало насыщено июльским днем. Лиственная тень играет по белой с голубыми мельницами печке. Влетевший шмель, как шар на резинке, ударяется во все лепные углы потолка и удачно отскакивает обратно в окно. Всё так, как должно быть, ничто никогда не изменится, никто никогда не умрет.

ИСААК БАБЕЛЬ

В ЩЕЛОЧКУ

Есть у меня знакомая — мадам Кебчик. В свое время — уверяет мадам Кебчик — она меньше пяти рублей «ни за какие блага» не брала. Теперь у нее семейная квартира и в семейной квартире две девицы — Маруся и Тамара. Марусю берут чаще, чем Тамару.

Одно окно из комнаты девушек выходит на улицу, другое — отдушина под потолком — в ванную. Я увидел это и сказал Фанни Осиповне Кебчик:

— По вечерам вы будете приставлять лестницу к окошечку, что в ванной. Я взбираюсь на лестницу и заглядываю в комнату к Марусе. За это — пять рублей.

Фанни Осиповна сказала: — ах, какой балованный мужчина — и согласилась. По пяти рублей она получала нередко. Окошечком я пользовался тогда, когда у Маруси бывали гости. Всё шло без помех, но однажды случилось глупое происшествие.

Я стоял на лестнице. Электричества, Маруся, к счастью, не погасила. Гость в этот раз был приятный, непритязательный и веселый малый, с безобидными этакими и длинными усами. Раздевался он хозяйственно: снимет воротник, взглянет в зеркало, найдет у себя под усами прыщик, рассмотрит его и выдавит платочком. Снимет ботинку и тоже исследует — нет ли в подошве изъяну.

Они поцеловались, разделись и выкурили по папироске. Я собирался уже слезать. И в это мгновение я почувствовал, что лестница скользит и колеблется подо мной. Я цепляюсь за окошко и вышибаю форточку. Лестница падает с грохотом. Я вишу под потолком. Во всей квартире гремит тревога. Сбегают Фанни Осиповна, Тамара и неведомый мне чиновник в форме министерства финансов. Меня снимают. Положение мое

жалкое. В ванную входит Маруся и долговязый гость. Девушка всматривается в меня, цепенеет и говорит удивленно и тихо:

— Мерзавец, ах, какой мерзавец...

Она замолкает, обводит всех нас бессмысленным взглядом, подходит к долговязому, целует отчего-то его руку и плачет. Плачет и говорит, целуя:

— Милый, Боже мой, милый...

Долговязый стоит дурак дураком. У меня непреодолимо бьется сердце. Я царапаю себе ладони и ухожу к Фанни Осиповне.

Через несколько минут Маруся знает всё. Всё известно и всё забыто. Но я думаю: отчего девушка целовала долговязого?

— Мадам Кебчик, — говорю я, — приставьте лестницу в последний раз. Я дам вам десять рублей.

— Вы слетели с ума, как ваша лестница, — отвечает хозяйка и соглашается.

И вот — я снова стою у отдушины, заглядываю снова и вижу: Маруся обвила гостя тонкими руками, она целует его медленными поцелуями и из глаз у нее текут слезы.

— Милый мой, — шепчет она, — Боже мой, милый мой и отдается со страстью возлюбленной. И лицо у нее такое, как будто один есть у нее в мире защитник — долговязый.

И долговязый деловито блаженствует.

Этот миниатюрный рассказ Исаака Бабеля, советского писателя, пропавшего без вести в Сов. Союзе, повидимому, в конце 30-х годов, — был нам прислан В. В. Вейдле из Парижа. Рассказ должен был быть напечатан в 1924 г. в № 2 «Русского Современника», в Ленинграде, но был исключен из сборника в последнюю минуту, и сохранился у нашего сотрудника, потому что два его стихотворения были напечатаны на другой стороне того же листка. *Ред.*

ОТРЫВОК

У входа стоял высокий чиновник в черном костюме. Лубочнокрасный цвет его щек и носа наводил на мысль, что он недавно плотно, с вином позавтракал, может быть, съел омара. (На мгновение из ворота его черного костюма вместо человеческого лица попыталась высунуться возмущенная голова этого омара).

С высокомерной светской развязностью он взял мой affidavit и, разодрав конверт, передал мои бумаги другому чиновнику, сидевшему за небольшим столиком. Тот принялся их разбирать. Я с давним беженским страхом смотрел на его склоненную голову. С виду добродушный, но кто знает...

Он протянул мне мой паспорт.

— Спрячьте, здесь он вам больше ненужен будет.

Я вздохнул с таким чувством облегчения, будто попал из царства необходимости в царство свободы.

Не могли найти мой сундук с книгами. Носильщик, похожий на старого голливудского актера, по счастью, понимал мой доморощенный английский. Пока мы ждали, я старался расспросить его о здешней жизни. Он очень хвалил.

— Бифштекс, во какой — 60 центов! Кофе со сливками, не с молоком, а со сливками — 10 центов.

— God bless America! — заключил он убежденно.

Благодарно слушая его, я с надеждой смотрел на его толстый живот. Мне так хотелось, чтобы это была правда, что в Америке всем хорошо живется.

Наконец, сундук отыскался. Мы вышли на улицу. Обдало шумом. Непрерывно, словно мишени в тире, подъезжали один за другим ярко раскрашенные такси: желтые с красным, с зеленым, с оранжевым. Заслоняя небо, вдоль улицы тянулся мост для автомобилей. В пролет между железным бортом этого

моста и стеной здания пароходного общества падал сверху голубоватый разбавленный солнечный свет. Вступив в этот свет, в его весеннюю, почти уже летнюю теплынь, я мгновенно изнемог в моем драповом пальто, вдруг ставшим тяжелее доспехов водолаза. Чувствуя грусть от этой непредвиденной усталости, я смотрел на серые окрайные дома, аванпосты огромного незнакомого города. Мне зачаточно представлялись перекрестки, небоскребы; на тротуарах, в конторах, в лавках миллионы людей, ничего обо мне не знавших. Я никогда здесь не был.

Вот проехал таксист-негр с таким серым лицом, будто он был смертельно болен. Пожилой полицейский, ослабив желтые зубы, стоит в полукруге грузчиков. Они чему-то смеются. Из отдаления рассеянности я наблюдал их иероглифический для меня разговор о неизвестных мне происшествиях и лицах. Неуловимая странность мне чудилась во всем, словно я присутствовал при жизни людей в другом веке, в другом мире.

Носильщик усадил меня в такси. Двинулась карусель улиц. Мы еще недалеко отъехали, когда между двумя обыкновенными (как в Европе) высокими серыми домами я вдруг увидел кроваво-малиновый кирпичный, без единого украшения куб, перечеркнутый по фасаду ломаными зигзагами железной спасательной лестницы. На бледном, почти отсутствующем небе он будто пылал изнутри. Мне вспомнилось: Моисей видел в пустыне куст — «горит огнем, но не сгорает». Только из пламени замурованного в кирпичной кладке стен этого дома, вряд ли мог раздаться голос Бога. Чем дальше я ехал, тем всё больше попадалось таких домов и я скоро привык к их виду. Но этот первый поразил меня необыкновенно. В 1900 году, я думал, здесь так строили и на дома как этот, выходя из трюмов пароходов, переселенцы из Европы смотрели в надежде на счастье в новой жизни.

Такси ехал теперь по шумной и широкой улице. На тротуарах толпа. Множество открытых, несмотря на ранний час, кинематографов и увеселительных заведений. Словно был праздник.

Я вглядывался в лица прохожих. О чем они думают? Они не знают с каким волнением смотрел на них, проплывая в такси, ...собственно, кто? Никчемный, нелепо проживший свою жизнь человек. Но мне не хотелось теперь об этом думать. Я воспринимал всё почти с такой же жадностью, как в детстве.

Я вспомнил с каким непонятным мне теперь восхищением я смотрел, когда в первый раз ехал в трамвае, на лоснившийся отражениями света эмалированный выгнутый потолок вагона. (Яркие картинки по простенкам меня тоже привлекали. Я не совсем понимал их смысл, значит, не умел еще в ту пору читать). И сейчас же — так по обломкам метоп в музее воображение достраивает Парфенон — за этим таинственно дошедшим из прошлого глянец трамвайного потолка стали являться в хрустальной проруби того окна, в ясности погожего московского дня, дома Пречистенского бульвара, тумбы, лошади, бородатый извозчик в синем кафтане, как фарфоровый...; моя гувернантка разговаривала с соседкой о преимуществах электрического трамвая над конкой.

Всё это настойчиво дополнялось отрывками из воспоминаний о других поездках по Москве, и я не знал в тот ли раз мы проезжали мимо строившегося дома в лесах, и тогда ли стояла на углу буланая ломовая лошадь. А таблички объявлений? Какие они были в московском трамвае? В скольких городах мне пришлось ездить потом в трамваях устроенных по другому. Всё путалось. Только этот потолок я почему-то помнил с чувством исчезающей несомненности. Было даже удивительно, что я так ясно вижу, через бездну стольких лет.

В первое время по приезде я наслаждался чувством освобождения от страха, в тени которого я жил все последние годы в Европе. Я с радостью чувствовал, что теперь спасен — большевики никогда сюда не придут. Вместе с тем было чувство, что это конец путешествия. Дальше бежать некуда.

В 1917 году, когда мы уезжали из Москвы, взрослые с уверенностью говорили: «вернемся через два месяца». С тех

пор началась «ненастоящая», временная, до возвращения в Москву жизнь. А вот уже скоро старость. Верно, придется здесь, на новом, чужом месте, доживать свой век. Знакомые меня подбадривали. «Здесь все устраиваются, вы тоже устройтесь. И нам, когда мы приехали, было трудно». Они не знали...

Начались хлопоты. Только изредка удавалось пойти осматривать город. Первое впечатление было благоприятное. Мне нравилось, что Манхаттан остров. Сквозь уличный шум иногда доносились издали могучие и протяжные гудки океанских пароходов. До океана можно было доехать по Бродвею. Я собрался в одно из первых же воскресений. Сразу за последними громадами бродвейских домов — пристань. Там дымил готовый к отплытию белый дачный пароходик. По сходам подымались господин с дамой. Я мог бы купить билет и поехать, но я не знал, куда шел этот пароход: в Ричмонд, в Нью-Джерси, на остров Цитеры? Мне всегда неясно чудилось, что где-то живут люди, которые знают тайну счастья, и я подумал, может быть, именно в ту страну уезжали эти господин и дама.

У берега, в вечном колыпании полоща зеленые бороды наросших на сваях водорослей, мутная вода плескалась, как в полной до краев бадье. Рябь вблизи была удивительно крупной, будто я смотрел в увеличительное стекло.

Открытого океана отсюда не было видно. Бухту запирали острова. Но я знал, что за ними простирается необозримая водная пустыня, отделявшая меня от всей моей прошлой жизни. Там медленно, почти не двигаясь, шел мимо построек низкого острова апокалиптически прекрасный пароход из Европы. Он будто ждал, когда городская стража откроет перед ним невидимые ворота. Обгоняя его, табуны невысоких волн теснясь входили в порт. Вдруг освещение изменилось: на мгновение всё стало сапфирно-синим, потом потемнело. Начал накрапывать дождь. Я повернулся и побрел обратно по непривычно безлюдному Бродвею.

Я еще не дошел до угла Валл Стрит-а, как, выйдя из-за туч, уже опять светило солнце. Как хорошо, как радостно вдруг стало.

Еще долго потом, среди всяких беспокойных мыслей о моей неустроенности, я вспоминал райски озаренные дома и мостовую (я когда-то уже видел такой свет) и летевший навстречу буйный мартовский ветер, до того пронизывающе холодный, что у меня выступали на глазах слезы. Волоча по тротуару старую, шипевшую как гусь газету и сметая прах, он несся в простор и звал с собой. Грудь с чувством освобождения дышала ледяным пьянящим воздухом. Освобождения от чего? От скуки, от заботы, от страха, от ничтожества. И вдруг я вспомнил: от закона необходимости и смерти. Значит об этом я на самом деле всегда думал. Но не только тени этих мыслей, пришедших мне тогда на Бродвее, выступали передо мной из мглы беспамятства. Чем внимательнее я вглядывался, тем всё лучше различал, что там, где раньше мне казалось ничего не было, всё время без моего ведома, точно подземная река, что-то продолжало жить и двигаться и расти в глубине моего сознания. Значит я действительно существую — думал я с радостным удивлением. Но меня отвлекали мысли о другом. Мое положение меня беспокоило. Оставалось всего пятьдесят долларов, а службы еще не было. Нужно подать прошение туда-то, повидать того-то. Об этом проще и привычнее было думать.

Мне советовали обратиться к Снегуровскому. «У него большие связи».

Друзья пригласили меня к ужину. Вечером после ужина должны были собраться у них несколько парижских знакомых. Обещал прийти и Снегуровский. Я с волнением думал о встрече с ним. Мы не виделись с самого начала войны.

К ужину был приглашен также Рагдаев. Мы сговорились, что я за ним зайду.

Владимир Рагдаев принадлежал в Париже к кучке последних русских мальчиков, собиравшихся по ночам в монпарнаских кафе для споров о Боге и справедливости, как по Достоевскому и полагается русским мальчикам. Эмигрантский воздух оказался для них особенно губителен. Никого не удивляло,

когда кто-нибудь из них умирал от чахотки или кончал самоубийством. Во время войны многие из нашего кружка пошли во французскую армию, участвовали в «сопротивлении», были расстреляны или сварены на мыло. Это тоже казалось последовательным. Но то, что один из нас стал миллионером возбуждало любопытство, как нарушение некоей закономерности.

В Нью-Йорке Рагдаев первый меня разыскал и был, казалось, искренне рад меня видеть. В начале его забавляло поражать меня своим богатством. Он заехал за мной в своем спортивном Рольс-Ройсе и повез в какой-то русско-венгерский ресторан. Потому, как хозяин, и лакеи, и музыканты почтительно и радостно его встречали, было видно, что он здесь широко тратил.

Он старался держаться со мной по-товарищески, как в Париже, но теперешнее различие между его и моим положением неизбежно отражалось на наших отношениях: он обращался со мной благосклонно покровительственно, а я с ним с некоторою почтительностью, как младший со старшим, хотя мы были ровесники. Это выходило как-то само собой, словно требовалось нашими ролями богатого и бедного. В разговоре он несколько раз сказал мне «ты», хотя в Париже мы всегда были на «вы». Думая, что он это делает из желания представлять себе наши прежние отношения более дружескими, чем они были на самом деле, я, преодолевая чувство неловкости, стал тоже говорить ему «ты». Но он тогда поспешно вернулся к «вы».

Он слушал мои рассказы о судьбе общих приятелей с неодобрительным выражением и обещал некоторым помочь, правда, прибавив: «хотя мне это нелегко будет». Я знал, что он обыкновенно не отказывает в денежных просьбах, но по какому-то туману застилавшему его глаза, я чувствовал, что ему уже было скучно со мной. Делая вид будто слушает игру музыкантов, он думал о чем-то своем.

Я вспомнил об этом, выходя из дома. Я решил пойти к нему пешком, через Центральный парк. На улице шел дождь, совсем тихий, слабый. Сначала я весело шагал. Но дождь всё

сеялся мельчайшей бисерной пылью. Входя в парк, я почувствовал, как я безнадежно промок. Мое габардиновое пальто сморщилось на плечах и груди, набухшие водой штанины стали точно из брезента. Теплый, парной дождь низвергался теперь с шумом и силой. Светлые струи, всё время будто вздваивая ряды, несчетно множились на глазах, как солдаты в сказках. Но уже не стоило возвращаться. И хотя жалко было пальто, мне нравилось так идти под дождем. Вода, вода... Мгновениями мне казалось, что я иду по дну моря. В помутневшей окрестности первобытно выпирали из земли неукрошенные гранитные глыбы; деревья — большие черные кораллы. Сам я среди этого таинственного ландшафта представлялся себе совсем крохотным. Если писать картину, то одного мазка было бы достаточно, чтобы меня изобразить. Впрочем, это был бы не я, а странник из какой-то английской мистической поэмы.

Неожиданно я вышел к большому круглому бассейну, обнесенному чугунной решеткой. Я не знал, что здесь был пруд. Свинцовая вода пасмурно рябила под частой дробью дождя. На другом берегу, возникая словно из вод потопа, высились бледно-голубые за дождем дома 5-го авеню.

Наконец добрался. Небольшой особняк. Когда я подходил к двери, дождь внезапно прекратился.

В прихожей швейцар или секретарь, молодой человек в какой-то особой куртке и с сиянием в волнистых волосах, посмотрел на меня с сомнением. Спросив кого я хочу видеть, он позвонил по внутреннему телефону.

Осматривая высокие сени, я чувствовал удивление, что это дом того самого Рагдаева, у которого в Париже, как у всех у нас, не всегда было чем заплатить за чашку кофе.

Я недолго ждал. Провожая высокого, важного с виду господина, Рагдаев появился на площадке широкой лестницы, ведущей на второй этаж. Господин старался его в чем-то убедить, но Рагдаев раздраженно его перебил.

— Вы мне это расскажите завтра в конторе.

Пока высокий господин с растроеным лицом сходил по

широким ступеням, а я подымался, Рагдаев, нахмутив брови, разглядывал меня сверху.

По случаю воскресенья он еще не одевался и был в шелковом японском халате, раскрытом на жирной волосатой груди. Меня опять, хотя уже не так сильно, как в первый раз, поразила происшедшая с ним перемена. В Париже, до войны, он был необыкновенно тонкий и гибкий. Я помнил, как на одном собрании у Мануши, опоздав и не желая никого тревожить, он с усмешкой пролезал за спинами сидевших на диване. Его узкий таз и ноги по-ужинуму текуче проползли между их кострцами и отвалом дивана. А теперь он ужасно потолстел. Туловище стало тучное и тяжелое, а таз раздался, как у рожавшей женщины. Я почти со страхом наблюдал это превращение, произведенное над ним временем. Только черные лакированные волосы и по-восточному белозубая и чуть хищная улыбка были прежние.

Посмотрев на мою вымокшую одежду, он сказал со злобой.

— Ужасный климат!

— Нет, дождь уже перестал.

Он провел меня в столовую.

— Садитесь дорогой. Хотите кофею? Я еще не ел сегодня. Только что встал. Утром прилетел из Вашингтона. Ешьте, пожалуйста.

Длинный стол был заставлен блюдами с ветчиной, холодной телятиной, сырами, фруктами и печеньями.

Рагдаев ел с удивившей меня поспешностью и с такой же поспешностью, хмурясь и кося блестящие круглые глаза, проглядывал лежавшую у его прибора газету.

— Что же, осматривали уже Нью-Йорк? — не отрываясь от чтения, спросил он, не желая обижать меня невниманием.

Зная, что он не любит Нью-Йорка, я ответил с некоторой запальчивостью.

— Осматривал. Даже лазил на Empire State Building.

— Значит, *лазили*. Ну как, понравилось?

— Замечательно, весь город видно.

— Что ж хорошего? С одной стороны одна река, с дру-

гой стороны другая река. Уж не притягивает ли вас высота?

— Я боюсь высоты, — ответил я искренне.

— Ну, как бы броситься. Правда? — подсказывал он улыбаясь.

Говорили, что несколько лет тому назад он пытался покончить с собой. У меня было чувство, что в первый раз мне что-то приоткрывается из его жизни.

— Правда, — согласился я, надеясь, что он доскажет свою мысль.

— Я вас знаю, — он довольно усмехнулся, думая, что разгадал меня. — Ведь сколько народу оттуда бросалось. Там теперь решетка, а раньше каждый день падали и еще убивали людей внизу.

— Как же это, там уступы, — сказал я недоверчиво.

— Некоторые разбивались об эти уступы, а другие разбивались и отпрыгивали, как мячик и падали дальше, — с улыбкой не сдавался он и вдруг, содрогнувшись, сказал. — У меня ноги млеют на высоте.

Из столовой мы перешли в его кабинет, большую комнату, с книжными полками и картинами по стенам: Руо, Матисс и наш монпарнасский Багрянинов. Отдельно от других висела в золоченой раме большая картина на библейский сюжет.

— Как же, это мой Тицианчик, — сказал Рагдаев небрежно. — Во всяком случае школы Тициана. Эксперты еще неокончательно установили.

Меня поразило множество различных говорящих приборов в комнате: два телефона, радио, телевиденье, автоматический граммофон. На заставленной безделушками этажерке улыбалась с большой фотографии молодая красивая женщина, с плечами открытыми вечерним платьем. Надпись: "To my sophisticadet friend...".

— Хорошенькая? — спросил Рагдаев, заметив, что я смотрю на фотографию. — Это одна моя приятельница, артистка. Она выступает теперь с успехом на Бродвее. Вы бы влюбились, если бы познакомились.

Чтобы у меня не оставалось сомнения какие у него отношения с этой женщиной, он прибавил.

--

Он сказал это, думая, что его богатство, дававшее ему возможность обладать по желанию всем, что покупается за деньги, должно было возбуждать во мне чувство восхищения и зависти, и мне стало неприятно, так как я, действительно, ему завидывал, хотя вовсе не хотел бы жить как он.

Рагдаев пошел к себе в спальню одеваться. Оставшись один, я невольно стал сравнивать его судьбу с моей. У нас было много общего. Одинаковое воспитание в детстве, в России, и молодость в Париже, на погибшем русском Монпарнассе. По множеству разбросанных всюду, начатых и недочитанных книг, я узнавал такую же как у меня любознательность, соединенную с неспособностью к продолжительному усилию внимания. Даже в этом было между нами сходство. Но в то время, как я был неудачник, он достиг всего, чего добиваются люди, и, именно, наиболее умные, здравомыслящие люди. И это согласие со здравым смыслом, должно было давать ему, я думал, чувство укреплённости своей жизни в чем-то прочном, общепризнанном, реальном.

Я слышал, как он в спальне говорит с кем-то по телефону. Я мог разобрать только отдельные слова. С удивившей меня бодрой готовностью он отвечал кому-то: «да, я сделаю все по-вашему, как вы любите, в вашей консервативной манере...»

Наконец он вышел из спальни, выбритый и напомаженный, в новом и дорогом очень хорошо сшитом костюме.

— Это меня вызывал из Сан-Франциско один из самых крупных экспортёров, — сказал он со счастливой улыбкой. — Вот человек! По одному его слову во всех частях света грузятся товары на сотни тысяч долларов.

Он стал смотреться в зеркало, обдергивая на себе пиджак.

— Ну, как? Не кажется ли вам, что тут немножко морщит.

— Нет, отлично сидит и вам очень идет.

— Я люблю, чтобы костюм был хороший, — сказал он с убеждением.

Заметив, что я держу в руках книгу нашего монпарнасского товарища Бориса Глебова, отравившегося незадолго до войны, он покачал головой.

— Да, вот и Николай и все хотят меня уверить, что это был какой-то замечательный там философ, писатель, поэт. А фактически это эпизоды всякие там. Он ничего не мог стабилизировать. Понимаете, всё это придумано, всё это выдуманно. И это облито таким сахарным соусом языка. Ведь я его хорошо знал. Мы в Париже долго жили в одном доме. Грязный, ленивый, не хотел работать, нюхал наркотики.

Заметив мою улыбку, он поспешно и грубо прибавил, чтобы помешать мне возразить.

— Я знаю, что Борис был твой друг, но ты ведь сам согласен, что я правду говорю.

— А всё-таки он был замечательный поэт, — сказал я с удивившей меня самого твердостью.

Рагдаев замолчал, недовольный, что я мог подумать, что и обо мне он такого же, верно, мнения как о Глебове, и еще более недовольный тем, что дал мне повод считать его самого мешанином, ничего не понимающим в судьбе людей искусства.

В передней, примерив несколько шляп, он выбрал черную, именно такую, какую мне давно хотелось иметь. На мой вопрос, где он купил эту шляпу, он чуть усмехнувшись наивности моего предположения, что я могу покупать там же где он, сказал.

— Я беру английские.

Мы вышли на улицу в любимый мой час, когда еще совсем светло, а в глубине воздуха уже начинает накапливаться чуть заметная синева. После прошедшего дождя было легче дышать.

Рагдаев долго колебался ехать ли на «Пенелопе», как он почему-то называл один из своих автомобилей, или на такси. Решил, что на такси проще. Пока мы ехали, он всё время молчал. Он, верно, обдумывал что-то деловое. Я чувствовал,

как за его выпуклым лбом шла безостановочная работа, будто крутились шестерни, какого-то сложного механизма. Но не мог же он быть только местом, где работала эта умственная машина.

Я наблюдал Рагдаева с тем чувством любопытства и недоумения, какое я испытал недавно в зоологическом саду перед клеткой леопарда. Пятнистый зверь ходил взад и вперед вдоль решетки, изредка вдруг пристально взглядывая на смотревших на него людей. Он был такой же живой как я, с такими же инстинктивными чувствами и так же всё видел и воспринимал, и в то же время передо мной не было никого, кто мог бы почувствовать жалость. То есть, значит, вообще никого не было. Это ощущение пустоты было настолько сильным, что у меня закружилась голова, как на краю обрыва, и золотой леопард мягко и гибко ходивший по клетке, вдруг показался мне не более существующим, чем образы сна, и словно пламенным и объатым какой-то мглой.

И в таком же смущающем сне на яву, я видел теперь грузное, сидевшее рядом со мной тело Рагдаева, непонятное и диковинное, как шарообразная рыба в комнате одного знакомого моряка, и мне было тягостно, что его белое, с пухлыми щеками лицо, воспринималось мною только как натюрморт, только как часть обстановки в которой мы находились: стенки кареты такси, и проходящие за окнами деревья, поляны и дороги Центрального парка. Конечно, при моих встречах с Рагдаевым, по его словам и по игре его лицевых мускулов, я угадывал его наиболее поверхностные мысли и чувства, большей частью ничтожные и тщеславные и почти такие же произвольные, как движения картонного паяца. Но за этим, казалось, больше ничего не было. Я знал, что и мое поведение на людях обычно определялось действием таких же «условных рефлексов» эгоизма и самолюбия, и что во мне было не меньше чем в Рагдаеве смешного и отвратительного. Только самому себе я это легко прощал, так как был уверен, что главное во мне не это, а стремление моего сознания к правде. Но равнодушие и усталость мешали мне разглядеть и в Рагдаеве такое же созна-

ние, соединенное с самым началом жизни. А между тем, подобно тому, как знаешь, смотря на тень на стене, что где-то тут должен находиться предмет, отбрасывающий эту тень, я знал, что в глубине (неопределимой, но которой не могло не быть, иначе всё превратилось бы во что-то чудовищное, как труп) за грубо намалеванным Рагдаевым моих наблюдений был такой же человек, как я, со всеми заложенными в каждом человеке возможностями любви, жизни и творчества. И если бы я увидел этого настоящего Рагдаева, я помог бы ему стать самим собой. Но для этого нужно было сделать утомительное душевное усилие. Чувствуя себя виноватым, я стал вспоминать всё хорошее, что я знал о Рагдаеве, говоря себе, что он добрее и лучше меня, больше делает для других. И я понял, что его лицо не сразу стало такое, как теперь — замкнутое и заплывшее жиром. С тех пор, когда он жил в нищете и никто его не жалел, до его теперешнего богатства прошли годы борьбы, изнурдительный путь, в конце которого его как всех людей ждали одиночество, страдания и смерть. Тут я увидел на мгновение его лицо и всё вокруг, даже самые обыкновенные предметы, окруженными, как на картинах моих любимых художников, глубиной и совершенством вечности.

Во всяком случае, — подумал я, — если он даже ничего об этом не знает, в нем должно быть за всеми занимающими его мыслями о делах, женщинах и успехе хотя бы темное, неясное чувство своего существования в мире. Я не вытерпел и спросил его, что он думает будет после смерти.

— Нет, право, вы все-таки фармацевт, — сказал он с досадой. — Потом вы меня еще спросите есть ли Бог, или, что я кушал вчера за ужином.

Я стал сбивчиво говорить ему, что тут дело вовсе не в догадках, а как показал Бергсон, всё решается в зависимости от того, есть ли сознание только эпифеномен движений молекул мозга или несводимо к этим движениям.

Недовольно косясь на меня, он слушал со скукой и удивлением. Почему-то презрительное выражение в его лице особенно усилилось после того, как я сказал «эпифеномен». Он,

явно, больше не следил за тем, что я говорю, а только ждал, когда я кончу.

— Значит, после вашей смерти всё еще будет существовать Гуськов? — спросил он брезгливо, как если бы в предположении, что я могу остаться жить после смерти, было для него что-то необыкновенно скучное и противное.

— Не Гуськов, не я с моими паспортными приметам, а моя подлинная личность, моя душа, — пытался я найти определение.

— Ну да, все-таки Гуськов, только в другом виде, — усмехнулся он. — Нет, не верю.

Когда такси, ожидая перемены огня, стоял на углу Бродвея, меня поразило, как прелестно тоненькие ветки чахлах бродвейских деревцев рисовались на далеком туманном небе. Жалкие по сравнению с парижскими каштанами и платанами, но я чувствовал, что мне и таких достаточно.

Я упросил Рагдаева отпустить такси и немножко пройтись. Он неохотно согласился, удивляясь странности моего желания.

До тех пор я всё время думал о том, кого из Парижских знакомых сегодня увижу и как они меня встретят, но когда мы вышли на Риверсайд Драйв я обо всем забыл. Вдоль парапета прогуливался с собакой господин в коричневом пальто. По его удавлявшейся сутулой спине, мягко озаренной закатом, веяли тени ветвей деревьев. Я долго смотрел, как он и собака, словно возвращаясь на родину уходили в прозрачный светлый сумрак.

Проезжали автомобили и автобусы. Но шуршанье шин, и гул моторов, и голоса редких прохожих не простирались за балюстраду сада. Там была тишина и сквозь деревья виднелись подымавшаяся из-под откоса дивносиреневая, зеленоватая, с участками розовой и золоченой зыби светлая поверхность вод Гудзона и синий берег Нью-Джерси с кирпичными домами над обрывом, похожими в сумраке на замок крестовосцев. Над ними, под беззвучно гремевшую торжественную

музыку уходило ввысь таинственно и душераздирающе сгоравшее небо. Круглое, из расплавленного золота лицо солнца, багровое от волнения и в то же время задумчивое, погружающееся в сон, пылало среди дымных облаков, присутствовавших при закате, как сонмы ангелов на картинах Квадраченто.

· Когда я увидел это небо, что-то почудилось моему сознанию, но так быстро, что я ничего не мог восстановить. Всё оставалось попрежнему далеким и внешним, а между тем я помнил о мгновенном как молния предошущении невероятного, почти ужасающего понимания. Уже в который раз так было со мной. В эти странные мгновения ничего не происходило, но они изменили всю мою жизнь и только в них я чувствовал возможность ответа.

· Я не мог точно определить мои мысли. Сильнее всего было впечатление одушевленности этого неба. «Не может быть, мне только так показалось», — подумал я и, желая проверить, взглянул внимательнее. Впечатление оставалось. В загроможденном неподвижными облаками небе было то же выражение, которое давно, может быть в детстве, я видел на лице кого-то любящего и любимого, после того как мы поссорились. Выражение любви и боли, примиренное и печальное, как перед смертью. И по сравнению с нравственной величавостью и правдой этого выражения, я со всеми моими сомнениями, надеждами и страхами показался себе ничтожным и маленьким.

Вместе с тем было чувство, что это небо открыто мне, и сад мановением ветвей с любовью зовет меня, на каждом шагу с бесконечной щедростью предлагая, куда бы ни обращался мой взгляд, картины равные написанным самыми великими мастерами. Но я почему-то не мог сосредоточиться, не мог взглянуть и с раздирающей болью чувствовал, что мои восприятия всего этого не становятся по-настоящему мною и я наблюдаю их словно со стороны. Это было всегдашнее страшное сознание неизвестности моей жизни, в которой достоверным было только то, что в этом окружавшем меня божественно прекрасном мире я должен буду умереть.

Кое-где сидевшие на скамейках люди говорили между собой в полголоса. Верно, и они бессознательно чувствовали по угасанию красок и по наступающей ночи, что дневная сутолка не занимала *всего места* и в этот час расставания с солнечным светом им хотелось быть лучше и добрее.

Заложив руки за спину, Рагдаев молча и как-то понуро шел рядом со мною. По выражению недоумения в его глазах, мне казалось, что непрерывно разрастающиеся в его голове рассуждения о делах вдруг остановились и он растерянно чувствовал, как кругом было тихо. Перед этой стерегущей нас тишиной, он, Рагдаев, ведший дела с несколькими странами, знакомый с банкирами, послами, сенаторами и министрами и обладавший всем, что можно купить, был такой же нищий, как я. Даже его замечательный Рольс-Ройс был только железная вещь, которая не могла заменить жизни.

Мне неясно представлялось, что далеко, далеко, сомнамбулически жестикулируя и шевеля губами, мы шли по какому-то горбату виадуку.

— Скажите, бывает ли у вас иногда чувство, что природа одушевлена и если бывает, то чем вы это объясняете? — спросил я, желая узнать так же ли, как на меня, действовало на него наступление вечера.

— То есть, как это одушевлена? Что вы подразумеваете? Что позади панорамы есть что-то целесообразное?

— Да, приблизительно.

— Всё сводится к тому является ли это только собранием клеточек, слепой игрой природы или за этим Божья рука? — старался он уточнить мой вопрос.

— Да.

Он улыбнулся неожиданно доброй и радостной улыбкой, как бы говорившей: «ага, вот этого ответа я только и ждал». Ничего плотоядного больше не выражалось в смягчившихся чертах его по-детски круглого лица.

— Чем больше я живу, чем больше приближаюсь к смерти, тем меньше я верю в механизмы, — вздохнув начал он, слабо шамкая ртом и будто засыпая от усталости. — Вам говорят, что это только, так сказать, сгущение воздуха, атмосфера, чорт его знает что, и что это будто совершенно просто, а вы чувствуете, смотря на небо, что есть за всем этим какая-то Божия десница. Может быть, это и есть, собственно говоря, единственное прикосновение к вечному, что есть там... А всё остальное чепуха.

Его ответ был для меня тем более неожиданным, что Рагдаев говорил теперь как будто искренне, а не с тем желанием показать, что не отстал от философии, которое я не раз в нем замечал. И он утверждал как раз то, во что я так хотел верить.

Чтобы вызвать его на продолжение разговора, я заметил.

— Странно, мне показалось, когда мы говорили о загробной жизни, что вы не верите в Бога.

Рагдаев слегка смутился и с каким-то испуганным любопытством спросил.

— Нет, почему вы так подумали? А впрочем, дорогой мой, я ничего не знаю. Одно только знаю, что я ужасно устал. Устала душа и всё надоело. Лень даже с бабами встречаться. Все эти лецемерные предварительные разговоры... И тело надоело свое собственное: мяса много, жира много. Всё надоело. «Пора, мой друг, пора! Покоя сердце просит...». Замечательные слова, которые я обожаю. Не могу я, не могу я читать вашего Глебова. А вот, когда мне трудно жить, перечитываю Пушкина, ах, какой был человек...

Так беседуя, мы шли вдоль огромного неба. Солнце садилось всё ниже. В торжественном, но торопливом шествии, невидном отсюда за теми холмами, его словно умирающего царя или Бога уносили в подземную огненную усыпальницу. Мы не прошли и полпути, как оно скрылось совсем. Но еще долго было светло и на западе всё не гасли небесные пласты невообразимо нежного зеленого, розового и голубого цвета,

и во всей этой меркнувшей красоте, в великом покое и грусти вечера, теперь вспыхивала с проворством ящерицы и опять исчезала, то кровавая, то бриллиантовая надпись: "Spray" (я вспомнил такой жир в банках). И дальше, на железной башне измельчавшей родственнице Эйфелевой, и в другую сторону, до самого Вашингтонского моста, зажглись зеленые и красные огни реклам.

Казалось, их отражения в черной воде уходят в бездонную глубину и весь тот берег, как на сваях, стоит на разноцветно огненных зыбких столбах.

...и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни...

Утро этого дня ничем не отличалось от предыдущих и ничем не предвещало тех удивительно странных событий, свидетелями и действующими лицами которых столь неожиданно оказались обитатели нашего маленького городка, затерянного где-то среди просторов восточного побережья моей великой и многообразной страны. Ничем не отличалось это утро и в доме Маргарэт Гульд. Как всегда назойливо и некстати зашипел будильник. Поспать бы еще, хоть полчаса, хоть 10 минут! Но по заведенному порядку Маргарэт считала своим долгом доброй жены вставать в одно время с Вильямом и готовить ему утренний кофе. Подняла ставни, открыла окно. В окно ворвалось уже слепящее глаза солнце, обещавшее горячий, как печь, день. В соседнем саду миссис Брукс ухаживала за своими петуньями. Она это делала каждое утро.

— С добрым утром, миссис Брукс, какой чудесный день!

— Добрый день, миссис Гульд, опять, боюсь, будет страшно парить.

Вильям сидел за столом, погруженный в изучение газеты. Он рассеянно поцеловал жену в лоб.

— Хорошо спала, Маргарэт?

Слова не требовали ответа — они были рутинным, утренним, супружеским приветствием.

— Что-нибудь любопытное в газете?

— Да... Пленные возвращаются из Кореи; русские уверяют — открыли водородную бомбу; Мак-Карти опять кого-то обличает...

— У тебя сегодня много операций в госпитале?

— Да, три утром, потом частные пациенты, которых надо навестить. Буду очень занят, вряд ли вернусь к завтраку.

Маргарэт медленно пила горячий кофе. Радио играло какие-то жизнерадостные мотивчики с явной целью подбодрить трудящихся, готовых отправиться на добычу хлеба насущного. В 8 часов, после обычного, настойчивого приглашения Восточной Воздушной Линии слетать в Чикаго по дешевке, за 60 долларов, в Калифорнию всего лишь за 88, начали передавать новости — Корея... За Железным занавесом... Забастовка во Франции...

«Внимание, внимание — мы обрываем, простите, нашу программу, ввиду очень важного сообщения, касающегося всех нас»... Потом, вдруг, раздался звук как бы трубы, и другой голос, незнакомый, проникновенный хорошо тренированного спикера большой, видимо, станции, продолжал:

«Внимание, внимание! Кто имеет уши слышать да слышит, — здесь вещает представитель Господа Саваофа. Ему, Господу всех царств земных и неба наскучила ваша неправда, глубина постыдных падений и низость грехов ваших, а главное, ничтожность ваших покаяний. Тысячу тысяч лет Он наблюдал за вами и потерял надежду на ваше возрождение из тьмы в свет, и вот, наконец, пришел день великого гнева Его, и никто не сможет устоять. Наступил день Страшного Суда и каждый даст за себя отчет Ему, Всемогущему. Наступает конец роду человеческому, не пожелавшему слушать закон. Вам дается 24 часа для приведения в порядок земных ваших дел и подготовки отчета о праведности и неправедности сих дел, с которым вы и предстанете на Суд. Так велел мне сказать Всемогущий. Аминь».

Наступила жуткая пауза, а через какое-то время снова заговорил с большой ажитацией первый голос, тот которого так внезапно оборвал коллега, вероятно, Архангел с небесной станции. И этот первый голос сознался, несколько смущенно, что он в полнейшем неведении того, что должно произойти и честно объявил — ничего объяснить он не может, но, впрочем, возможно, что произойдет потоп и Господь Бог снова спасет только одного какого-нибудь пьяницу, вроде Его любимого

и праведного Ноя с родственниками. Но, быть может, на сей раз Всемогущий — таков век — уничтожит решительно всех и всё живое. Говоривший, поняв, очевидно, всю несуразность своих слов, остановил речь, пообещав снести с властями предержащими в Вашингтоне, и в Риме с Папой, который там вместо Христа.

Вильям и Маргарэт, оба бледные, смотрели друг на друга в недоумении. Он погладил ее руку и вздохнул:

— Ну, как бы там ни было, а у меня первая операция в 9 часов и мне надо торопиться.

Она не отпускала его:

— Если сегодня последний день нашей жизни — так неужели ты не проведешь его со мной?!

— Ах, Маргарэт, я тебе всегда говорил, что надо жить так, как будто мы будем жить вечно, и каждый день, пока человек жив, он должен исполнять задуманную на этот день программу, что бы ни происходило кругом.

— А я думаю иначе. Я всегда думала, что каждый день надо жить так, как если б он был последним и делать только то, что было б важно в этот последний день, потому что он — последний, а остальное — чепуха.

— Даже, если это так, как ты говоришь, Маргарэт, то наши будто бы противоречивые взгляды всё-таки совпадают; я именно делаю то, что должен и хочу делать в свой последний день: иду к своим больным.

И он усмехнулся:

— Оно, правда, как-то нелепо — вырезать у больного слепую кишку, когда он завтра должен погибнуть всё равно.

Маргарэт осталась одна. Стало страшно. Она медленно повернула голову и, раскрыв широко глаза, посмотрела с какой-то надеждой на телефонный аппарат, похожий на черного уснувшего зверька.

Маргарэт вышла из дому. Невыносимый зной угнетал город. Но обыватели не обращали внимание на погоду, и оживление в городке было сумасшедшее — такое нечто бывает разве только перед Рождеством, в гигантскую суматоху, когда

люди, науськанные купцами из торговых рядов, в этот почти единственный раз в году, неистово, состязаясь, покупают друг другу подарки, желая обратить внимание на свою любовь к ближнему и дальнему.

Роскошный, обитый плюшем, магазин дамских мод на Бродвее объявлял саженными буквами:

САМАЯ ПОСЛЕДНЯЯ РАСПРОДАЖА —

Нас вынуждают закрыть торговлю и распродать весь товар по неслыханным ценам. Сегодня магазин не будет закрыт.

Несмотря на еще ранний час, растрепанные и растерзанные продавщицы не знали кому служить и куда поддаться. Почему-то особенно спрашивались вечерние платья с огромными декольте, туфли из золота и прозрачной пластики. Маргарэт подумала, — дамы решили нарядиться на Страшный Суд, не вполне поняв к какому разряду ночного развлечения его отнести.

У двери стоял сам хозяин модной лавки, Дон Вилер, наряженный, напомаженный и нафабранный старик с чрезвычайно злыми глазками, глубоко скрытыми под мохнатыми бровями. На его лице была широкая улыбка от бойкой торговли. Он забыл про свою болезнь, мучившую его десятки лет, и нашедшая на него бодрость выразилась некстати в судорожном и непрерывном поддергивании правой ноги; завидя Маргарэт, он стремительно бросился к ней навстречу, как говорится, с распротертыми объятиями.

— О, как я вам рад, Маргарэт, — и он вдруг рассмеялся молодым и залихватским смехом, каким уже никогда не смеются старики. Маргарэт несколько опешила и Дон сказал:

— Вы подумайте, какое счастье, мир должен погибнуть! Я снова здоров, я снова молод, не зря я выгнал доктора, этого педанта, вроде смерти. Подумайте, — всю жизнь трудился, строил, копил, и один-одинёшенек ждал конца, а эти дармоеды — мои дети заняли бы мое место и, на всем

готовом, стали б хозяйничать. А теперь нет, не будет наследников, ха-ха! и это только справедливо, не я один должен уйти, а все, все. — Он крепко схватил Маргарэт за руку и, еще больше пьянея от переполнившей его радости, продолжал быстрее и громче: «Ничего себе надумал штучку Всемогущий, поглядите, кругом, — все спятили с ума, а этот мистер Буллис, губа не дура, Вы знаете, аптекарь и знаток налогов, так он затеял целое предприятие с отчетами для Суда Страшного. Чертовщина, — говорю я вам, пошли бы, поглядели сами; а вон те...

Услыхав имя мистера Буллиса, Маргарэт была рада оборвать крик Дона Вилера и, тут же, свернула с Бродвея. Аптека Буллиса, согласно американскому обычаю, была, собственно, весьма пестрой универсальной лавочкой, где продавались все новейшие патентованные средства для восстановления здоровья людей и животных, где можно было купить зонтики, галоши и другое барахло, но кроме того, там покупалось и глоталось мороженное 28-ми сортов, горячие и прохладительные напитки и съедобное. Сам же аптекарь, кроме фармацевтических дел, в марте месяце принимал живейшее участие в составлении налоговых деклараций для сограждан, за что получал скромную мзду. И действительно, он с чудесной гибкостью ловчился в лабиринте налоговых законов. Перед аптекой сейчас стоял длиннейший хвост всякого народа. В витрине был показан гигантский черный плакат, по которому было выведено белым:

АПТЕКА ОТКРЫТА ДО КОНЦА СВЕТА

Наш босс, сам Мистер Буллис, и его заместители готовы помочь Вам в составлении декларации для Страшного Суда; многолетний опыт Мистера Буллиса по налоговым делам может облегчить вашу участь на Суде, а также в потустороннем мире. Соблюдается полнейшая конфиденциальность.

Аптекарь и два его помощника сидели на сколоченном наспех возвышении и принимали грешников, со слов которых они что-то записывали на больших разграфленных листах. Эти

грешники чинно и безропотно стояли в очереди уже несколько часов, а подойдя к столу Буллиса делали свой доклад шопотом, косо поглядывая на своих ближайших соседей. Но эти исповеди не вызывали интереса у соседей, — на их лицах было одно нетерпение. В ту минуту, когда Маргарэт вошла, Буллису докладывала о своей жизни миссис Брукс, наша знакомая любительница петуний. Аптекарь слушал, казалось, без особого внимания, и заметя Маргарэт приосанился, оживился, и закричал:

— Маргарэт, Маргарэт, и вы к нам, и вы для прошения, милости просим, подходите, я вас приму вне очереди.

Последние слова вызвали ропот в хвосте. Но Маргарэт спокойно сказала:

— Нет, благодарю, я зашла выпить кофе.

— Жаль, жаль, — пробурчал аптекарь и снова вернулся к грехам миссис Брукс.

— Нет, я не думаю подписывать этой декларации, — неожиданно вскипев, объявила миссис Брукс. — Вы забыли записать, что я всю жизнь добросовестнейшим манером платила налоги, аккуратнейшим образом ходила по праздникам и по воскресеньям в церковь, яростно ненавидела коммунистов и доносила на них. Где же эти факты указаны в декларации? Почему вы их скрыли? Я на них настаиваю. — Лицо старухи сморщилось в зловещую гримасу, выражавшую и негодование и подозрительность. — Вы мой враг, — закричала она истошно, — вы мне готовите гиенну огненную, — и, не дожидаясь ответных слов аптекаря, бросилась бежать вон. Произошло замешательство и Буллис с виртуозной находчивостью объявил перерыв на полчаса. Он подошел к Маргарэт.

— Чорт бы ее побрал, старуху, — сказал он, — не потрафил, слышали? видели? И откуда у них берется столько наглого вдохновения, когда врут. Если б Вы знали, Маргарэт, сколько такого вранья мне пришлось слышать сегодня; грешки же, правду сказать, самые мелкотравчатые, скучные.

Ехиднино племя! А вот Вы с мужем, Маргарэт — святые, по настоящему святые, всему городу известно. Вас и без прошения оправдают на Суде — и прямо в рай! — Маргарэт улыбнулась и промолчала. — Еду сейчас в тюрьму, — продолжал аптекарь, — вызвал меня начальник; нужно составить отчет для того, помните, Джека, кошмарного убийцы семи с лишком вдов. Он их соблазнял лаской, грабил, убивал и растворял в сулеме. Так вот для этой декларации потребуется особое расположение души, не правда ли? Грешник он, думается, несомненный, и я не вижу еще с какой стороны праведник.

Маргарэт слушала его рассеянно и, заметив, что одна из телефонных будок освободилась, поспешила ее занять.

В баре Лысого Джо стояли вечные сумерки; сюда никогда не проникал дневной свет — так требовалось для дела, так, казалось, уютнее и свет в баре был от электрических ламп, стоящих на столиках, под красными колпаками. В этот ранний час было пустовато. Одинокий, никому незнакомый, солдат стоял, согнувшись, у стойки молча, и с жадностью тянул пиво из высокого стакана; у другого конца стойки сидела рыжая, веснушчатая и одутловатая девица с распущенными волосами, похожими цветом и видом на какие-то волокна; она то-и-дело размахивала красноватыми руками и быстро что-то нашептывала в ухо своему кавалеру, кудлатому парню в клетчатой рубаше и рабочих дэним. За отдельным столиком сидели двое почтенных, франтоватых господ, и, казалось, спорили; трудно было понять, о чем шел разговор, не было слышно, шумел аппарат телевидения, заведенный недавно Джо для более полного комфорта гостей. На экране телевидения царила, было видно, полнейшая катавасия — появлялись бессмысленные, сегодня, рекламы, вроде слабительного шоколада или лакированных Кадиллаков последней модели, но тут же, без предупреждения, реклама вдруг прекращалась и судорожно показывались новости всех столиц мира, вызван-

ные кудесниками, и говоруны-вещатели старались объяснить, перебивая друг друга, что думают сенаторы, бейсболисты, футболисты, представители рабочих союзов, служители церквей, синагог, мечетей, прокуроры, адвокаты, купцы и пожарные и, вообще, кто попало о предстоящем *катаклизме*, последнем и окончательном.

Маргарэт, войдя, направилась к самому далекому от входа столику. Она, проходя, улыбнулась Джо, а этот за баром, немедля и деловито, стал готовить светложелтый и ледяной картины.

Ричард вошел, как всегда, своей стремительной походкой, не оглядываясь по сторонам, и сел на скамейку против Маргарэт. Ей показалось, что наконец наступила та самая минута, которую она больше всего ждала весь сегодняшний день — дурацкий и необъяснимый день. Трудно ей было понять сразу, что наступила живая действительность и не о чем было больше мечтать. Она глядела на него каким-то своим особенным, длинным и нежным взглядом. Он поймал этот взгляд и ласково погладил ее по щеке; она быстрым и привычным движением головы поцеловала ласкавшую руку.

— Нам незачем было сегодня встречаться, Марго, — тихо сказал Ричард, — Мы не можем друг другу помочь, и декларации и прошения нам помочь не могут, это ты, надеюсь, понимаешь. Неужели тебе страшно?

— Нет, не страшно, — отвечала Маргарэт.

— Ты пойми, — сказал Ричард, — мы грешны не потому, что совершали дурные поступки, а потому, что мы сознательно грешили и ничто обратили человеческий, может, и божеский закон. Ты ужасно легкомысленная, — в такой день ты только искала свидания со мной; ты до конца хочешь быть неверной Вильяму. А ты знаешь, мне как-то не по себе от всей этой катастрофы, неужели наступит слепая, глухая вечность? — Ей хотелось ответить: «Я не боюсь вечности, я боюсь ее только без тебя», но вместо этого сказала:

— «Греха в том не было никогда, когда я бывала с тобой, я тебя люблю».

Так часто и так небрежно употребляемое, самое затасканное, это самое нежное, это самое спасительное слово, произнесенное так тихо, что никто, кроме Ричарда, не мог его услышать, пронзило бар Лысого Джо какими-то невидимыми лучами и растворилось в сумеречной пыли его, изменив что-то.

В эту самую секунду — было ли это совпадение — на экране телевидения, вместо изображения папского Ватикана, беспорядочно забегали черно-серые зигзаги; одинокий солдат у стойки отставил высокий стакан пива и оглянулся, услышав хрустальный, неизвестно откуда исходивший, звук; веснушчатая девица, прижавшись головой к загорелой руке парня в рабочих дэним, зарыдала; подчинившись общему настроению замолчали франтоватые господа, и сам Джо замер с миксером в руках. Выскользнув из бара, выпущенное на волю, окрыленное возвращенным ему смыслом это древнейшее, это всегда молодое слово разлилось над разгоряченным, доживавшим свои последние часы городом и, верное себе, натворило множество бед. Должно быть, оно еще не отзвенело, когда на углу Бродвея и Пятой Улицы на Маргарэт Гульд наскочил автомобиль, которого она не заметила затуманенными глазами, пересекая столпотворенную улицу, не дождавшись позволения фонарного — зеленого огня. О чём подумала она в последнее мгновение? Не это ли: «Как глупо, всего за несколько часов до конца мира...»

Ничего такого не было.

Не знаю: изменил ли Господь Бог свое первоначальное, гневное намерение, мне ли всё это приснилось, потому что мне снятся самые удивительные сны, или это представилось мне наяву в ту очень пьяную ночь у стойки Лысого Джо, когда я глотал без счета, сухие и ледяные мартини, но только, как бы

то ни было, — всё в порядке, и моя могущественная страна, это — *США*, продолжает цвести и набирать силы на страх врагам, а наш городок на восточном побережье растет и галдит на славу. Миссис Брукс всё так же ухаживает за петуньями в грядках; аптекарь Буллис по прежнему бойко торгует барахлом, и в марте будет составлять налоговые декларации в еще большем числе; Дон Вилер, представьте, здравствует; Ричард женился, и, говорят, не верен жене. Вот только Маргарэт Гульд на самом деле была раздавлена на смерть автомобилем на углу Бродвея и Пятой улицы. Никто, однако, не знает в точности, как это произошло.

НА СМЕРТЬ БУНИНА

Когда писатель умирает в том возрасте, в каком умер Бунин, становится резче ощутимой та особая пустота, что постепенно образовывалась вокруг него. Сверстников, да и многих младших современников его давно уже нет, и весь этот мир, в котором он приближался к гробу и теперь лежит в гробу, слишком непохож на тот, с которым он некогда сроднился и который сделал его тем, чем он стал и чем остался навсегда. Так бывает и со всяким, дожившим до старости человеком, но еще пустыней пустота вокруг писателя, пережившего смену трех или четырех писательских поколений и распад того сложного, никогда не повторяющегося сплетения бытовых предпосылок и духовных устремлений, в которое он врос, когда начал жить, и которым питалось его творчество. Слава против этого бессильна, особенно, если она приобретена давно. Незаметно, с годами, она стала славой имени, плохо скрывающей отчужденность самого писателя и его писаний от тех, кто уже не участвует в создании этой славы, а принимает ее на веру, не настолько интересуясь ею, чтобы ее оспаривать. Пусть в широком кругу писателя еще читают, даже и с восхищением, но литература возникает, меняется, живет в узком, а не в широком кругу, в том узком, горячем кругу, где писатель когда-то вырастал и созревал, где разгорался от чужих искр его собственный своевольный огонь, так что не очень ему и нужно было тогда это издали веющее, слабое тепло, которым в зябкие свои годы пытался он подчас согреться. Так и некрологические славословия, давно уже хранившиеся в редакциях газет, не в силах предотвратить того молчания, той холодности, которые воцарятся теперь надолго: до тех пор, пока образ умершего и совокупность или хотя бы часть его писаний совсем по новому не предстанут перед новым поколением читателей.

Так бывает почти всегда. Но судьба Бунина сложилась иначе. Не говоря уже о том, что нормальная смена литературных поколений у нас нарушена, что русской литературы, еще существовавшей тридцать лет тому назад, теперь, как целого, больше нет, место, которое Бунин в ней занимал, с самого начала было необычным, необычно отъединенным. Пустота, окружавшая его старость, не старостью была создана, а та

же самая была пустота, что расстилается в наше время вокруг всякого русского писателя, достойного этого имени, всё равно старого или молодого, внутри страны или за рубежом. Зато в те ранние свои годы был он одинок, как никто, литературно обособлен, как никакой другой литературный мастер; так что, когда, вдали от России и при всё ясней обозначившемся духовном оскудении ее, он писал лучшие свои вещи, старое одиночество, сливаясь с новым, не более ранящим делало это новое, а, напротив, позволяло легче сладить с ним. Те, кто теперь читал Бунина или писал о нём, вообще никакой отъединенности его не ощущали, потому что старая литературная перспектива быстро улетучивалась из их сознания. В эмиграции произошло смешение литературных поколений, направлений и даже простейших ориентировок на тот или иной (скорее «средний» или скорей «высокий») культурный уровень читателей. Романы Сирина и романы Осоргина печатались в том же журнале и нередко награждались одинаковыми похвалами, терявшими вследствие этого всякое значение. Цветаева и Тэффи стали умещаться рядом на книжной полке, словно на единой грядке орхидея и герань, а один весьма ученый и талантливый критик обнаружил даже нечто общее между Тэффи и Сервантесом. Славе Бунина всё это не повредило, но повредило оценке его своеобразия и точному учету сделанного им дела. Одних разговоров о том, что он «давно стал классиком», что он «не меньше, а быть может, и крупнее писатель, чем Тургенев» (с чем я лично совершенно согласен), тут недостаточно. Чтобы понять куда он пришел, надо вспомнить прежде всего откуда он вышел.

*
*
*

Одинок он был, в первую половину жизни, не внешне, а только внутренне. Внешнюю спору он довольно рано себе нашел в кругу писателей, занимавших, если не в политическом, то в литературном отношении, позиции, которые в ту пору считались отнюдь не передовыми, а скорее тыловыми. Литературный лагерь, к которому он тогда принадлежал, был лагерем «знаньевцев» или «бытовиков», тех самых, о которых «символисты», то-есть люди, создавшие эпоху, называемую нами теперь серебрянным веком нашей поэзии, пренебрежительно говорили, что они «консерватории не кончили». Бунин сам приводит это выражение в главе своих «Воспоминаний», посвященной Куприну, и при этом защищает Куприна, который, по его словам, «консерваторию проходил, это уже другое дело,

какую именно». Однако, консерваторией он тут, очевидно, называет известный опыт, известный запас наблюдений, нужных писателю для его работы, тогда как «символисты» этим шуточным словом обозначали совсем иное: прежде всего некоторую степень гуманитарного образования, а затем некоторую сумму литературных (а не житейских) знаний, не любых, а тех, которыми они обладали сами, и, на основе этих знаний, некоторое воспитание вкуса, некоторое обострение разборчивости не только в литературных, но и других художественных оценках. В такую «консерваторию» Куприн даже и не поступал, и очень характерно, что не кончил ее и Бунин. Ту литературную осведомленность, которая ему лично, как писателю, была нужна, он постепенно приобрел, но школа, им пройденная, была не та, которая считалась обязательной с тех пор, как ее прошли, при всех отличиях в объеме и характере приобретенных знаний, и Мережковский, и Анненский, и Гиппиус, и Сологуб, и Вячеслав Иванов, и Брюсов, и Белый, и Блок, и все, кто следовал их примеру. Весьма показательны в этом отношении его (стихотворные) переводы, т. е. самый выбор вещей, которые он переводил. Лонгфелло уже тогда был признан поэтом незначительным, Теннисона читать перестали, у Байрона не находили той лирической насыщенности слова, которую отождествляли с самой поэзией. Вель даже и сейчас, если Байрона и Теннисона снова читают в Англии, то читают «Дон Жуана», «Чайльд Гарольда», а не «Каина» и «Манфреда», и не «Леди Годиву», а «In Memoriam». Что же касается тех западных поэтов и писателей, которых тогда любили и переводили, то Бунин их не знал или не любил, как не любил он и тех, кто их переводил и почитал, — справедливо или несправедливо прославленных современников и соотечественников своих. Ведь недаром до конца своих дней, даже и Блока считал он не одним из лучших русских поэтов, а гениальничавшим ничтожеством. Всё, или почти всё, что у нас или на Западе причислялось к «модернизму» или превозносилось, как созвучное ему, Буниным либо осуждалось, либо просто для него не существовало.

В «передовом», в задававшем тон литературном лагере ему платили, как водится, тою же монетой. Его, пожалуй, готовы были признать, после «Деревни» и «Суходола», самым одаренным среди «бытовиков», но это значило только, что его считали первым из писателей второго сорта. Избрание в Академию, по разряду изящной словесности, хорошей службы его репутации не сослужило: этой чести удостаивались, едва ли не одни бездарности. Ценить его по заслугам, не в широком, а в

узком кругу — литературно активном, а не пассивном — начали только после «Господина из Сан-Франциско», рассказа вне-бытового и как бы оповещающего об этом уже самой своей не-русской темой. Но вскоре после этого всё перепуталось, смешалось, и настоящее взаимоотношение между искусством Бунина, которое в изгнании окрепло, как никогда, расширилось, усложнилось, и искусством его недругов и их учеников так с полной ясностью и не определилось. Новые писания его были приветствуемы всеми и повсюду, но одними с полной наивностью, просто как «хорошая литература» (как будто живая литература когда-либо рождалась в качестве просто хорошей и похожей на любую другую хорошую литературу), а другими — с не совсем чистой совестью, как нечто, хоть и замечательное, да неизвестно откуда взявшееся, точно упавшее с луны во всё своём непрошенном совершенстве. Нет сомнения при этом, что если бы некоторые поздние рассказы, а особенно «Жизнь Арсеньева», были написаны, скажем, в 1912-м году, так бы к ним не отнеслись: сразу почувствовали бы их небывалость, их острую, и вместе с тем нужную новизну, и автора их, даже против его воли, зачислили бы во враждебный ему до тех пор литературный лагерь. Но если этого не случилось, то, конечно, потому, что этого случиться не могло. Бунин созрел медленно, как это часто бывает с людьми большого и сложного дарования, и к зрелой своей манере он пришел не столько в силу отказа писать так, как писали до него, сколько в результате непреднамеренного развития, которое, в рамках его творчества, постепенно привело к некоему перерождению русской прозы.

Проза серебрянного века была прозой поэтов, либо не отказывавшихся и в ней от стихотворного ритма, как Андрей Белый, либо, как он и почти все другие, включавших в самый ее замысел и структуру черты, бывшие до тех пор принадлежностью лирической поэзии. От самой широкой и бьющей в глаза из сравнительно скудных традиций нашей прозы, от традиции бытового, т. е. более или менее описательного и документального романа, они отвернулись, воспользовавшись в ней очень немногим и не пытаясь истолковать ее по своему, перестроить ее на новый лад. Такое отношение к ней было, разумеется, их правом: когда вспахивают новь, соседнее поле может и отдохнуть. Вправе они были и глядеть свысока на тех, кто под предлогом «верности заветам», как раз и обесмысливал эти заветы, предаваясь бесплодному «описательству», согласно придуманному Зинаидой Гиппиус меткому словцу. Однако, в духовном мире, преодолевается лишь то, что заменено и что

незримо продолжает жить в этом заменившем его новом. Традицию, о которой идет речь, наши символисты или модернисты не столько заменили, сколько отменили. Зато среди бытовиков, среди знаньевцев нашлись такие, которые исподволь, сами того не замечая, сумели ее переосмыслить, и которые, тем самым, больше, чем поэты серебрянного века, содействовали тому, чтобы то прошлое, которое она собою представляла, и в самом деле отошло в прошлое. Таким писателем был в некоторой мере Горький, который дописался-таки до своих автобиографических книг, одинаково зачеркивающих и раннее его сусальное-романтическое бытописание, и скучнейшие романы и драмы последних его лет. Но в полной мере был или стал таким писателем один Бунин, уже в ранних вещах которого, даже и до «Деревни», мы усматриваем теперь то, чего пятьдесят или сорок лет тому назад никто усмотреть не мог: зачатки творческих побуждений и отвечающих им приемов письма, совершенно противоположные всему тому, что могло нравиться читателям сборников «Знание» и что сам автор, как им казалось, ставил своей ближайшей целью.

Еще в «Деревне», еще и в «Суходоле», на первом плане — быт, указующий перст: «вот как люди живут», и при том не без обличительства (потому что живут они прескверно). Этой-то указке в свое время и подчинились; только этот фасад и видели. Не замечали поразительной безсюжетности этих вещей, особенно «Деревни», повести довольно длинной, где почти ничего не происходит, а могло бы и совсем ничего не происходить, и где вместе с тем бытописание не довлеет себе, как и сейчас еще может показаться на первый взгляд, а существует ради прикрытой, приглушенной им, и от этого окрашенной еще мрачней, тайной и скорбной музыки. Да и повсюду в этой ранней бунинской прозе наблюдается странная мозаичность формы, раздробленность повествования, знаменующая отказ от тех давно пущенных в ход и черезчур готовых к услугам приемов романа и рассказа, которыми так бойко пользовались тогда, да пользуются и теперь, все верные заветам и не забывающие о тираже «беллетристы». От романа Бунин так и воздержался: «Жизнь Арсеньева» — не роман, а то, чем он заменил роман. Что же касается классической техники рассказа (или, вернее, новеллы), то он стал ее с таким исключительным искусством применять лишь после того, как научился относить драматическую напряженность, создаваемую ею, не к поступкам действующих лиц, не к событиям, а к некоему их субстрату, лирически пережитому, к некоей судороге чувства и мысли,

в которой весь смысл рассказа и заключен. Оттого то и есть у Бунина рассказы крошечного размера, — вполне достаточного, однако, чтобы вызвать такого рода судорогу. Но и в сравнительно длинных вещах, в «Деле корнета Елагина», «Митиной любви» — и с какой очевидностью в «Иде», в «Солнечном ударе», в рассказах «Темных аллей»! — этот лирический субстрат, это созерцание неподвижного внутреннего зрелища, не выразимого иначе, чем в лицах и событиях, но всё же не исчерпывающегося ими, играет решающую роль; а в «Жизни Арсеньева» лирическая стихия пронизывает от начала до конца повествование, растворяет в себе всё вещественное содержание его, делая темой книги не жизнь, а созерцание жизни, не молодость Бунина-Арсеньева, а созерцание и переживание этой молодости вневременным авторским я, не как прошлого только, но и как настоящего, как совокупности памятных мгновений, за которыми кроется темный, несказанный и, однако, неподвижно присутствующий в них смысл. Эта двойная субъективность (свой, а не общий для всех мир, и с ударением не на нём самом, а на том, как он увиден) приближает книгу, при всём различии опыта, письма и чувства жизни, к «Поискам потерянного времени». Да и вся эта субъективизация повествовательных форм, к которой Бунин пришел во второй половине жизни, ставит его в непосредственное соседство с такими западными современниками его, как прежде всего Пруст, а затем Свево, Музиль, Вирджиния Вульф, отчасти и Джойс. По намерениям он несравненно консервативнее их, но по результатам он к ним ближе, чем какой-либо из поэтов, писавших прозу, в лагере ему враждебном, за исключением Андрея Белого. «Описательство» было только началом, и как удивились бы в «Весах» или «Аполлоне», если бы кто-нибудь высказал догадку о том, куда оно может привести!

**
*

«Я опять стал кое-что писать, — теперь больше в прозе, — и опять стал печатать написанное. Но я думал не о том, что я писал и печатал. Я мучился желанием писать что-то совсем другое, совсем не то, что я мог писать и писал: что-то, чего не мог. Образовать в себе из даваемого жизнью нечто истинно достойное писания — какое это редкое счастье — и какой душевный труд!»

Эти слова о своей молодости мог бы написать и Пруст. «Жизнь Арсеньева», откуда они взяты, на его книгу похожа еще и тем, что она пронизанная воображением воспоминанье

не только о жизни, но и о претворении ее в словесную, образную ткань. Юного Марселя мучит та же потребность и та же недостижимость выражения, что и сверстника его Арсеньева, и он мог бы повторить за ним: «Выйдя на балкон, я каждый раз снова, до недоумения, даже до некоторой муки, дивился на красоту ночи: что же это такое и что с этим делать!» Разве это не похоже на знаменитое «zut! zut! zut! zut!» Пруста, на его незнание, как выразить то, что он чувствует при виде мартэвильской колокольни, на такое же его недоумение перед нетронутой, сияющей пеленою мира, за которой таится что то, чего нельзя уловить иначе, чем в творческом акте, создающем художественное произведение. «Я чувствовал, — читаем мы у него, — что еще не дохожу до самой глубины моего впечатления, что есть что-то, за этим движением, за этим светом, что-то, что как-будто и заключается в них и прячется за ними». Разве это не родственно тому, что Арсеньев говорит Лике: «Есть чувства, которым я совершенно не могу противиться: иногда какое-нибудь мое представление о чём-нибудь вызывает во мне такое мучительное стремление туда, где мне что-нибудь представилось, то-есть, к чему-то тому, что за этим представлением, — понимаешь: за! — что не могу тебе выразить!» Внимание одного писателя направлено не на ту-же сторону мира, что внимание другого, но свою писательскую задачу они понимают одинаково, и с одинаковой неизбежностью, хоть и совсем по-разному, подчиняют ей свою живую жизнь. Ведь трагический разлад, в результате которого гибнет Лика и незаживающая рана открывается в душе Арсеньева, вызван ничем иным, как именно жадностью творчества, рождающей в свою очередь такую жадность к жизни, которая неизбежно переплескивается за пределы всякого отдельного жизненного содержания. Как ни подлинна любовь Арсеньева, Лика не может быть ее единственным предметом, не столько потому, что *рядом* с ней есть другие предметы, то-есть весь мир, сколько потому, что она бесильна задержать на себе его любовь, которая, как бы *сквозь* нее, обращается ко всему в мире. Грех его по отношению к Лике приотстает на всех своих ступенях не из распыленности его внимания или чувственности, а из поглощенности всего его существа той самой, раз навсегда заданной ему художнической задачей.

Но как же он думает ее разрешить? Сперва (и даже в течение долгого времени), в отличие от Пруста, самым простым и едва ли не слегка простодушным способом. «Озаренный лунной Хрущев стоит над нею (снежной кучей) и, засунув руки

в карманы куртки, глядит на блестящую крышу. Он наклоняет к плечу свое бледное лицо с черной бородой, свою оленью шапку, стараясь уловить и запомнить оттенок блеска. Вот бы вернуться в кабинет и просто, просто записать всё то, что только что чувствовал и видел». Это из коротенького рассказа «Снежный бык», написанного в 1911 году. А вот заключение другого, столь же краткого, но с более зрелым мастерством написанного отрывка, «Книга», помеченного 1924-ым годом, но отражающего, несомненно, воспоминание более ранних лет. Рассказчик лежит с книгой на гумне в омете. «Всё читаете, всё книжки выдумываете?» вспоминает он слова проходившего мимо мужика. «А зачем выдумывать? Зачем герои и героини? Зачем роман, повесть, с завязкой и развязкой? Вечная боязнь показаться недостаточно книжным, недостаточно похожим на тех, что прославлены! И вечная мука—вечно молчать, не говорить как раз о том, что есть истинно твое и единственно настоящее, требующее наиболее законно выражения, то-есть следа, воплощения и сохранения, хотя бы в слове!» Об отрицании сюжетных построений и вымышленных лиц, о стремлении к прямой передаче живого впечатления говорится не раз и в «Жизни Арсеньева». Некоторые главы второй части почти целиком посвящены рассказу о поисках предельно выразительной краткой зарисовки. «Это тоже надо записать: у селедки перламутровые щеки». Или: у собачки уши — как завязанный бант. «И опять, точно молния, радость: ах, не забыть — настоящий бант». Нос нищего состоит как бы «из трех крупных, бугристых и пористых клубник... Ах, как опять мучительно-радостно: тройной клубничный нос!» Или еще: «На Московской я заходил в извозищью чайную, сидел в ее говоре, тесноте и парном тепле, смотрел на мясистые алые лица, на рыжие бороды, на ржавый шелушащийся поднос, на котором стояли передо мною два белых чайника с мокрыми веревочками, привязанными к их крышечкам и ручкам... Наблюдение народного быта? Ошибаетесь — только вот этого подноса, этой мокрой веревочки!»

Недаром Арсеньев говорит Лике: «Лучше всего у Гоголя его записная книжка». Но в те годы, да еще и долгое время спустя, этот литературный метод, слегка напоминающий Жюль Ренара или итальянских «фрагментистов», полноценных результатов не давал. Отчасти потому, что сам по себе не мог их дать, отчасти же потому, что бунинскому словесному мастерству еще далеко было тогда до той высоты, на которую оно поднялось, когда писались только что цитированные строки. Рядом с его зрелою манерой, письмо «Деревни», «Суходола»,

«Хорошей жизни», «Веселого двора», кажется чересчур вещественным и плотным, хоть именно этими свойствами оно весьма выгодно и отличалось от рыхлого и вялого письма его тогдашних товарищей по перу. Слишком вещественным, слишком буквально-изобразительным бывал нередко и самый замысел этих ранних произведений. То, что в них так отчетливо и выпукло живописалось, не всегда было в достаточной мере дематериализовано, одухотворено; бытописание, об избавлении от которого автор их, как мы видели, и тогда уже мечтал, всё-таки над ними тяготело. Одной бессюжетностью, одной мозаикой наблюдений нельзя было избавиться от него. Избавление пришло не отсюда: ему помогло лирическое начало, которое Бунину было дано, как поэту, и которое в его прозе гораздо сильнее проявилось, чем в его стихах. Еще о совсем детском стремлении своём, повествуя об Арсеньеве, он вспоминает: «Мне хочется понять и выразить что-то происходящее во мне». Во мне, а не вне меня. Или он мог бы сказать точнее: выразить происходящее во мне посредством изображения того, что происходит во внешнем мире. Юноша Арсеньев задумывается о том, не начать ли просто «повесть о самом себе». И он же, предполагая писать о помещицьем разорении, говорит: «я хотел бы выразить только его поэтичность». Из этих-то импульсов и родилось преодоление всего, что так долго стесняло бунинский дар, преодоление, в силу которого и самые точные записи перестали быть описательством, прониклись лиризмом, превратились в нечто близкое к метафоре, так что и клубничный нос нищего и перламутровые щеки селедки стали выражением «чего-то происходящего во мне», да и весь опыт молодой жизни, через много лет перелился в «повесть о самом себе», где и в самом деле выражена только поэтичность или, лучше сказать, поэзия этого опыта.

Поэзия победила. В «Жизни Арсеньева» ею преображены даже гнев, презрение, сарказм, даже оперный Сусанин горбно и блаженно закатывающий глаза к небу и выводящий с перекатами: «Ты взойдешь, моя заря»; или провинциальный актер, выступающий в «Записках сумасшедшего», который, «сидя на больничной койке, в халате, с неумеренно-небритым бабьим лицом, долго, мучительно-долго молчит, замирая в каком-то идиотски-радостном и всё растущем удивлении, потом тихо, тихо подымает палец и, наконец, с невероятной медленностью, с нестерпимой выразительностью, зверски выворачивая челюсть, начинает слог за слогом: «Се-го-дня-шнего дня...» Здесь, как у Боратынского, в таких стихотворениях, как «Фи-

лида, с каждою зимою...» или «Всегда и в пурпуре и в злате...», сатира переплескивается за свои обычные пределы и великолепным водометом возносится в лирические небеса. Казалось бы приподнятая, лирически-взволнованная речь уместна скорей в пределах нескольких страниц, чем на протяжении долгого повествования, а между тем именно ему она дала и несравненную насыщенность и безупречное единство. «Жизнь Арсеньева» написана целиком в тоне восклицательном, как величественная, полная ужаса и восторга, воспевающая и прославляющая ода.

«Всё казалось царственным, пышным, торжественно восхищало душу». Это сказано о богослужении в начале книги, но от начала до конца это приложимо к ней самой. «— Ты это часто говоришь — восхищает, восхищение. — Жизнь и должна быть восхищением...» Так отвечает Арсеньев Лике. И можно добавить: восхищением, но и страхом и трепетом вместе с ним, а если трепетом прежде всего, то никогда не отделенным вполне от восхищенья. В восклицательных фразах, которые как ударения расставлены по всей книге, то и другое неразрывно соединено. Как характерны такие, например, строки: «Возлавая ему «последнее целование», я коснулся венчика губами — и, Боже, каким холодом и смрадом пахнуло на меня и, как потрясла меня своей ледяной твердостью темно-лимонная кость лба под этим венчиком, в непостижимую противоположность тому живому, весеннему, теплomu, чем так сладко и просто веяло в решетчатые окна церкви!» Или, близко к концу: «И, вспомнив всё это, вспомнив, что с тех пор я прожил без нее полжизни, видел весь мир и вот всё еще живу и вижу, меж тем как ее в этом мире нет уже целую вечность, я, с похолодевшей головою, сбросил ноги с дивана. вышел и точно по воздуху пошел по аллее уккусных деревьев к обрыву, глядя в ее пролёт на купоросно-зеленый кусок моря, вдруг представший мне страшным и дивным, перевозданно новым...»

Из таких интонаций складывается всё движение речи, определяющее, в свою очередь, весь внутренний строй книги: она — не воспоминания, не автобиография, не исповедь, но хвала, трагическая хвала всему сущему, и своему, в его лоне, бытию. Нетаром любимые слова Бунина в этой книге и во всех поздних писаниях его, вот именно эти: «страшный и дивный», «радостный и грозный» или, еще характерней наречия «дивно» и «грозно». ибо наречиями пользуется он с особым, несравненным искусством (как всего ярче сказалось в описании витебского костела, всё в той же книге, или пожара. в рассказе

«Поздний час»). Даже лошади «с крупными лиловыми глазами», в конюшне, куда заглядывает маленький Арсеньев, «грозно и дивно косили». В «Митиной любви», старинные любовные стихи, которые в томлении своем перечитывает Митя, звучат для него «порою, почти грозно», а в рассказе «Благосклонное участие» старая безголосая певица выступает на гимназическом концерте, где ей всё же обеспечен жалкий, но единственно возможный для нее успех, и рассказ кончается так: «Ее без конца вызывали и заставляли бисировать — особенно чуткая молодежь, стоявшая в проходах, кричавшая даже грозно, и бившая в сложенные ковшиком ладони с страшной гулкостью». Благодаря этому «грозно», благодаря «страшной» гулкости, ироническая эта концовка, как приведенные выше сарказмы о театре, перерастает свою непосредственную цель и дает всему рассказу новый смысл, связывающий его с основной внутренней темой позднего бунинского творчества, с той потрясенностью грозными и дивными образами мира, что внушила ему столько ни с чем не сравнимых страниц, посвященных ливням, непогодам, очищающим летним грозам, и нигде не выразилась с такой полнотой и совершенством, как в этом славословии миру, юности и точно вырванному у самого Творца позволению творить, которое названо «Жизнью Арсеньева».

Двойным волнением волнует эта книга: картиной непрестанных, непрощающих, ранящих творческих усилий, и зрелищем осуществленного творчества. Благословение завоевано борьбой, продолжавшейся всю жизнь. В ранних вещах, образы природы, образы людей уже даны сплошь и рядом с исключительной силой, но они не сплавлены воедино такую целостной мелодией, как здесь. То, о чём мечталось написать, теперь написано; написаны и самые мечты; выражена (как у Пруста) и самая потребность выражения, самая работа выражения. Всё исполнено, все сотворено. Точно из первозданной глины вылеплены навек и толстая спина офицера «во всей его воинской сбруе», и «непорочно-праздничное платье» Лики на балу, ее «озябшие, ставшие отрочески сиреневыми руки», и пугающий бедного Костеньку старухин мопс, «раскормленный до жирных складок на загривке, с выдуленными стеклянно-крыжевенными глазами, с развратно-переломленным носом, с чванной, презрительно выдвинутой нижней челюстью и прикушенным между двумя клыками жабьим языком». Всё доделано до последней запятой, всё досказано до конца, и музыка всё же не убита. Резкие, точные зарисовки, выжженные каленым железом впечатывающие слова чередуются со страницами почти страш-

ного в своей не то скорби, не то радости органичного, нарастающего ликования, а вслед за надгробным рыданием последних глав идет самая последняя — точно дыханья не хватило — три кратких записи и голос упал: конец.

От первой до последней строчки это так написано, что девяноста девяти сотых того, что считается литературой в России и в эмиграции, рядом с этим точно и не бывало.

**
*

Искусство есть сочетание противоположностей. Его неподчиненность закону противоречия сказывается уже в том, что как раз на вершинах его мы постоянно находим сверхрассудочное соединение самого личного с самым общим, неповторимого с вечно повторяемым. Одного своеобразия мало (хоть без него и не обойтись); нужно, чтобы в единственном и своем отпечатлелся очерк мира, образ человека, нечто столь же неисчерпаемо простое, как ночной сумрак, ветер или смерть. Живописцы, поэты испытывают нередко безотчетное влечение к определенному времени года или дня, к природной или человеческой стихии, как бы именно от них ждущей воплощения. Творчество Бунина связано в своей тайной глубине с образом сияющего полдня. Не то чтобы оно не знало утр, ночей и вечеров, но стремится оно, словно к своей вершине и пределу, к воплощению того духовного опыта, к которому в разной мере причастны бываем и все мы в полудневный час, в расплавленном летнем мире, когда кажется, что всё остановилось, кроме тяжело струящегося воздуха, когда всё пронизано солнцем, как в «Солнечном ударе», да и во всем бунинском искусстве, в его манере писать, в выборе слов, в самой ткани его повествования. И чем больше искусство это с годами углубляется в свою единственность, тем и это воплощение становится полней. Трагическое нарастание лета, так неотрывно сплетенное с основной темой «Митиной любви», превзойти было трудно, но в «Жизни Арсеньева» оно превзойдено тем раздирающим душу и каждый раз новым выражением, которое чуть ли не на каждой странице получает здесь всё то же дивное и грозное полуденное чувство. Оно родственно паническому ужасу. Оно пронзает собой все ливни и грозы. Оно, как в «*Selige Sehnsucht*» Гёте, и зачатие, и смерть, и снова жизнь. Торжествуя над обветшанием, над тлением, оно возвращает нам полдень: зрелость, полноту и равновесие всех сил.

Полдневная зрелость, — ею определяется и само искусство Бунина, и место, принадлежащее ему в истории русской прозы. Поздние книги его — не увядание, а цветение; они сильней и свежее ранних; и в нашей литературе они не сумерки, а полуденный яркий свет. Всего отчетливей это сказывается в их языке и стиле. Бунин не принадлежит ни к преемственности Гоголя-Лескова-Ремизова, ни к той, конечно, что соединяет Белого с Достоевским. Его пленяет не словесный узор, крутящийся вокруг узора мысли, и не уносящая мысль в свой водоворот стремительная, захлебывающаяся речь, а уверенная полновесность твердо поставленной на свое место и вонзенной в свою мысль фразы. Пристальность его к слову для русской прозы совершенно исключительна и до него достигалась у нас только в стихах (но не в его стихах). Ею он превосходит тех, с кем всего естественней его сравнивать: Тургенева, Толстого. Выбор слов у Тургенева четок и приволен, но иногда немного бледен и нередко впадает в несколько салонное изящество. У Толстого стенобитная сила фразы не нуждается в особой гибкости членений и даже предпочитает обходиться без нее, а вычуживую образность и звучность слова он всегда готов принести в жертву его верности и наготе. Бунин видит слово вблизи, так же вблизи, как его видел Гоголь; но он меньше поддается соблазну им играть. Он в равной мере внимателен к его звуку и к его смыслу, к его месту в предложении или цепи предложений и к обособленной его выпуклости и силе. В «Жизни Арсеньева» упомянута «та изумительная изобразительность, словесная чувственность, которой так славна русская литература». Но кто же до Бунина «изображал» у нас в прозе, как он, не просто движением речи, представлениями и чувствами, заключенными в словах, а еще и самой плотью слов? Один Гоголь, но в совсем особой области изображения. «Словесной чувственностью» Бунин превосходит всех своих предшественников (оттого так и теряет в переводе), уступая величайшим из них в широте захвата, в духовной мощи, и едва ли не всем в создании живых людей. Но создание людей, а не всего лишь правдоподобных образчиков той или иной человеческой породы, дано не всем временам, и литература нашего времени этим даром похвастать не может. Искусство Бунина было бы лишено своеобразия и новизны, если бы он хотел или умел (слова эти в данном случае значат одно и то же) писать так, как писали до него или как пишут и сейчас энигоны толстовской или чеховской манеры. Как поэт, он принадлежит девятнадцатому веку, но как прозаик, он старший из писателей,

открывающих в нашей литературе двадцатый век. Свои самые молодые книги он написал в старости, но от этого он не перестает быть зачинателем новой нашей прозы, уже не той, которую он, первый, решительно отодвинул в прошлое. И самое естественное для прозаиков нашего века было бы учиться своему ремеслу именно у него.

Беда только в том, что писания его — университет, а не начальное училище. Беда в том, что когда нынешнее производство макулатуры прекратится, нам придется зубрить прописи, начинать с азов. Можно верить, что в царстве духа ничего не умирает. Но сейчас стоит гроб посреди огромной русской пустыни и лежит в нём писатель, гордость России, которого даже оплакать некому.

Думая, о том, что сейчас происходит в мире, о том, что сделало двадцатое столетие с мечтами и надеждами прошлого века, многие из нас, вероятно, с особой горечью вспоминают всё написанное о «народе — богоносце».

Политические предсказания и догадки о судьбах человечества — дело исключительно сложное и рискованное: за редчайшими исключениями — вроде лейбнищенского описания грядущей французской революции — все они оказываются плодами слепой фантазии. Очевидно, историческая закономерность не так сильна, как принято считать, или во всяком случае основана она не только на том, что поддается учету и анализу, но и на том, что остается неуловимым.

С «народом-богоносцем» нам очень не повезло. Как известно, некоторые из самых глубоких русских умов — Тютчев, Достоевский и другие, — утверждали, что Россия призвана спасти мир: Запад будто бы подпал под власть дьявола, Россия служит Христу и должна, значит, озарить своим светом заблудившуюся, обезумевшую и грешную часть человечества. Это очень русская мысль, проходящая через почти все русские писания, окрашенные в славянофильские тона. В некоторых своих разветвлениях — у Данилевского, например — она почти доходит до нетерпения в ожидании неотвратимой будущей финальной схватки, или точнее войны, этого «единственного достойного способа решения мировых вопросов».

Сейчас Запад с Россией как будто поменялись ролями, и об этом одинаково часто приходится и читать, и слышать: в наше время Запад будто бы представляет христианство и христианскую культуру, Россия представляет сатану и всё сатанинское. Это утверждение, именно в такой лапидарной форме, сделалось в наши дни чуть ли не аксиомой, и всякое упоминание о прежних славянофильских домыслах неизменно сопровождается указанием на перестановку задач и стремлений. Еще немного, и мы при русской склонности к крайностям услышали бы пожалуй о «богоносце — Западе».

Долю истины, долю иллюзии в этих современных суждениях, каждый определит по своему, — на то ведь это и современность! Но вот, что однако ни сомнению, ни спорам не под-

лежит: со всем строем прежней русской мысли, поскольку она нашла свое выражение у Достоевского или у Тютчева, соображения насчет обмена ролей не имеют ничего общего.

Тютчев, как свидетель, в данном случае ценнее и важнее, чем Достоевский, хотя бы потому, что последовательнее его. Знаменитая его статья о «России и революции» есть своего рода манифест или катехизис христианского призвания России, как отчасти и вторая статья, о «Римском вопросе», с ее величественным и картинным заключением: русский царь благоговейно павший ниц в Соборе Св. Петра, а вокруг него, символически, вся Россия, на коленях тоже.

Тютчев несомненно признал бы, что в наше время Россия с колен встала и христианское свое служение отвергла. Но признал ли бы он, что на колени опустился Запад? Нет ни малейшего основания утверждать это.

Если бы Тютчев, Достоевский или такие славянофилы как Хомяков, а еще лучше Ив. Киреевский, — менее блестящий в мыслях, конечно, но более глубокий в чувствах, с мыслями связанных, — если бы вышли они из могил и взглянули на современный мир, то в соответствии со своими основными утверждениями должны были бы признать, что христианского лагеря, христианского «стана» на земле больше нет: осталось два сатанинских лагеря, или на крайность, один полностью сатанинский — в России, другой полусатанинский — на Западе.

По Тютчеву, по Достоевскому, по славянофилам, в неумолимом следственном согласии со всей этой линией русской мысли, сатана уже победил и сейчас происходит нечто вроде «домашнего спора» между подвластными ему силами, без того, чтобы спор этот мог иметь решающее значение. Решающие события уже произошли, а что произошли они иначе, по другому, чем хотелось бы и чем было предсказано, дела не изменяет.

Исчезла христианская, царская, православная Россия. Новая Россия неожиданно обошла Запад слева и заставила его для борьбы с ней, а то и просто для разговора с ней, сделать крутой поворот в сто восемьдесят градусов. Но при этом Запад остался таким же, как был. Поворот изменил его позу, то положение, в котором он стоял, но не изменил его сущности.

Всё, что отвращало Тютчева, осталось или даже усилилось. Вспомним: народовластие, основной демократический принцип — для Тютчева принцип безбожный, ибо это «власть

человеческого я, бесконечно умноженного в числе». А человеческое «я», предоставленное себе, в корне враждебно христианству, и французская революция была не чем иным, как «апофеозом этого я». Кого Запад признал своими духовными вождями? Папу Григория VII и Лютера. Никогда Россия не согласится счесть Лютера за христианина, да и католичество осталось ей чуждо именно потому, что оно Лютера в себе несло, было им беременно, поскольку с самого начала возвеличило разум и на нем основало свое здание. Лютер — протест от плоти католичества и был в нем логически — неизбежен (это, впрочем, мысль не Тютчева, а Ивана Киреевского, и мысль очень верная).

Об этом толковали русские мыслители сто лет тому назад, а с тех пор ничто не изменилось. Смирение, столь им дорогое, никого в западной культуре не соблазнило. «Эти бедные селенья, эта скудная природа» исчезли в России за всякими электрофикациями и Днепростроями, и если то, о чем сказано в последней строке тютчевского стихотворения — навеки незабываемого, чудесно-одушевленного, будто насквозь светящегося! — если об этом глупо и кощунственно было бы говорить в применении к нашей земле, то не менее глупо и кощунственно было бы и делать географические перестановки.

Для этих видений нет больше места в мире. По Тютчеву и по всем его единомышленникам игра проиграна, темные силы восторжествовали, а если между собой они не ладят, то от исчадий ада и ждать нельзя мирного сожительства.

Не думаю, чтоб эта философия — в наши дни, по ходу истории, оказавшаяся столь скорбной — пришлась кому-нибудь по сердцу. Не думаю, чтобы кто-нибудь попытался ее гальванизировать. Мысль принаравливается к обстановке, ищет в ней опоры, пищи и выхода... Но нельзя при этом искать какой-либо поддержки в великом русском религиозно-политическом вдохновении прошлого века. И нельзя на него ссылаться, говоря об изменении ролей.

Более полутора столетия тому назад Карамзин, под непосредственным впечатлением французской революции, задумался над вопросом, который стоит перед нами и до сих пор: как могло случиться, что идеи и принципы несомненно благотворные привели к невиданным в истории ужасам? в чем дело? случайно ли это?

«Век просвещения, я не узнаю тебя! В крови и пламени,

среди убийств и разрушений я не узнаю тебя! Кто мог думать, ожидать, предвидеть? Где люди, которых мы любили? Где плод наук и мудрости? Сердца ожесточаются ужасными происшествиями... Я закрываю лицо свое...».

Много позднее Герцен, — у которого не было оснований относиться к Карамзину с особой симпатией, — вспомнил эти слова и признал, что они «бьют в самую точку». Еще позднее, в 1904 году, Лев Толстой записал в дневнике своем мысль, если не совсем однородную, то всё же задевающую те же самые темы:

«Французская большая революция провозгласила несомненные истины, но все они стали ложью, когда стали вводиться насилеи».

Вероятно, Карамзин согласился бы с Толстым. Но за ним остается то преимущество, что он в отмеченных и Толстым фактах увидел загадку, и в явно взволнованных словах передал ее на рассмотрение и возможное разрешение людям следующих столетий.

В самом деле, если и верно, что «насилие превратило истину в ложь», то надо бы спросить себя: откуда возникает насилие? почему? Есть ли надежда, что в будущем торжество свободы и равенства обойдется без насилия, — подобно тому, как в России, в 1917 году, на несколько дней почти все поверили, что революция действительно останется «безкровной»?

Карамзинская загадка разрешается порой до крайности элементарно, так сказать по-обывательски. Объяснение должно будто бы свестись к тому, что властью завладели негодяи, жестокие, беспринципные, ненасытно-честолюбивые люди, которые ради ее удержания согласны на всё решительно. Кое-что в этом наблюдении верно, но беда-то в том, что это не столько объяснение, сколько именно наблюдение. Ничуть не идеализируя и не драпируя под добродетельных овечек ни Робеспьера, ни Ленина, надо бы всё-таки взглянуться в сущность вопроса, на которую поверхностные психологические замечания ответа не дают. Сделаем для ясности все необходимые уступки: признаем, что и в идеях, робеспьеровских или ленинских, «плоды наук и мудрости», оказались искажены, что в их личной окраске это идеи фанатические, узкие, пусть даже изуверские... Но вопрос и после этого остается вопросом, во всей своей неумолимой, поразившей Герцена простоте. Революции совершаются во имя чего-то несомненно хорошего, правильного, нужного и справедливого. Почему вырождаются они во что-то злое и отталкивающее? Каким образом из добра воз-

никает зло? Неужели действительно потому, что во главе доброго дела становятся злые люди? И если даже это так, чего же эти злые люди в конце концов хотят?

Как во всяком сложном историческом явлении, причины тут, конечно, скрещиваются и сплетаются. Нет единой, решающей причины, их множество, и в каждом отдельном случае причины общие, постоянные скрыты другими, связанными с данной эпохой и ее деятелями. Но кое-что, общее и роковое, выделить можно.

Народные волнения и перевороты сколько-нибудь длительные и глубокие, движутся и одушевляются двумя идеями: идеей свободы и идеей справедливости, или иначе — равенства. Но понятия эти вовсе не дополняют одно другое, как мы часто по инерции считаем, а друг друга исключают. Никакой гармонии между ними достичь нельзя, до тех пор, по крайней мере, пока человек останется таким, каков он сейчас, — и оттого то третий член великого революционного символа веры, — «братство», — в наше время стыдливо опускается и заменяется другим, менее лицемерным: не «брат», а «товарищ», или всего только «гражданин». Если бы достижимо было братство, всё было бы сглажено, все противоречия сами собой разрешились бы, и свобода с равенством, чисто по карамзински, в слезах обнялись бы и установили бы между собой вечный мир. Но братства нет, а равенства человек не хочет.

В этом, вероятно, самая сущность, само острое вопроса: равенства человек не хочет или во всяком случае им не удовлетворяется. Он мечтает о нем, он требует его, пока от недостатка социальной справедливости страдает, и пока верит, что всеобщее правильное распределение всякого рода благ должно положение его улучшить. Если представить себе горизонтальную черту, символизирующую уравнивание всех людей в обладании земными сокровищами, человек стремится к этой черте пока находится под ней, ниже ее. Достигнув ее, он рвется вверх, не говоря уж о том, что находящиеся наверху ни малейшего желания спуститься не проявляют, разве что в самых исключительных случаях, — примером чего должны бы остаться в истории наши декабристы, доказавшие, что не всегда всё таки «человек есть то, что он ест».

Русская революция вначале сделала ударение на свободе, и в лице первых ее руководителей была именно идеей свободы одушевлена. О горизонтальной черте равенства мало кто думал, а если и думал, то мысленно допускал ее лишь там, где она могла бы быть проведена безболезненно: равенство изби-

рательных прав, например. Всё февральское, какими бы подземными толчками подготовлено оно ни было, предстало под ярлыком свободы, и потому мало кого испугало, а наоборот, почти всех обрадовало, — кто же в самом деле свободы не хочет? Но октябрь, на словах от свободы не отрекшийся, совершил во имя равенства, и никакие захваты власти, ни даже успехи в гражданской войне не были бы возможны, если бы мечта о равенстве, в самых примитивных ее формах, не владела десятками миллионов людей, не подозревавших, чем обернется она в будущем. Октябрьский переворот мог бы, конечно, кончиться неудачей, по причинам случайным, то есть местным, временным, психологическим, военным, каким угодно другим. Но по общему, основному его устремлению, — выразившемуся хотя бы в формуле «грабь награбленное» — торжество было ему обеспечено, тем более, что свободе он, казалось, угрожал только «постолько-посколько», и не церемонясь в отношении бывших баловней жизни, всем другим, то есть огромному большинству, обещал довольство и покой.

Вероятно, и многие из тех, кто движением тогда руководил — или думал, что руководит, — убеждены были в возможности гармонического сочетания равенства со свободой. Не Ленин, конечно, дальновидный, отбросивший всякие иллюзии человек, но, скажем, Каменев или красной — Луначарский, искренно, кажется, поверивший, что ворота в рай распахнуты и, после первых передрыг, ему, как «нарком» предстоит беспрепятственно сеять разумное и вечное. Однако вскоре истина стала очевидна, ошеломив одних, заставив других изошряться в «революционной диалектике», т. е. в более или менее бесстыдной болтовне. Истина обнаружилась: от свободы не осталось ничего, ни для кого, и вовсе не потому, чтобы октябрь сбился с пути, изменил себе, нет, наоборот, потому, что он изменил бы себе, если бы свободы не уничтожил.

Конечно, это лишь схема того, что произошло, а жизнь мало бывает похожа на схему. Еще раз: бесчисленные, почти неуловимые мотивы должны были сплестись, прежде чем образовать реальное историческое целое. Но схема тоже имела значение, и вероятно, не меньшее, нежели что либо иное... Движение по линии свободы, то есть, со свободой в качестве конечной цели, сопротивления не встречает. Движение по линии равенства наталкивается на бесчисленные «не хочу», не только сверху, но и снизу, задолго до всех проблематических будущих свершений. Отталкивает и ужасает новый, неожиданный тон власти, с первыми угрозами, с явственно ощущаемым впе-

реди переходом от простого понуждения к чему то неизмеримо более бесчеловечному и беспощадному.

Свободу можно так сказать «декларировать», без дальнейшей опеки над ней. Равенство можно было бы только навязать силой, и стремление к нему неизбежно ведет к контролю над поступками, действиями, а затем и над мыслями каждого отдельного человека. Каждый отдельный человек — как правило, с несомненными из него исключениями, — заботится прежде всего о себе. Даже веруя в достижимость свободы и благополучия для класса, как живого целого, он не согласен ради этого целого жертвовать собой. Класс, общество по сравнению с ним самим — понятия почти ирреальные, условно-живые, книжно-живые, как и пресловутое «классовое самосознание». Нет класса, есть Иван Иванович, который хочет чтобы жена его ходила в шелковом платье, недоступном для жены Петра Петровича, и что особенно удивительно, — от этого шелкового платья Ивану Ивановичу меньше радости, если жены всех Петров Петровичей в состоянии завести себе такие же! Именно так ежедневные, едва заметные многомиллионные маленькие взрывы сливаются в глухое, стихийное противодействие теоретически праведному и по Карамзину «святому» стремлению. Безотчетно или сознательно, человека тянет обратно, в первобытный лес и никаких приглашений выйти оттуда он к себе лично не относит, (а стремление в самом деле «свято», хоть и находится в противоречии со всем тем, что можно бы назвать поэзией жизни, прелестью жизни, восхитительной пестротой жизни, — и это-то и заставляет людей константинолеонтьевского типа, эстетически чутких, но этически-глухих, бледнеть от ярости и презрения при одном упоминании о ней).

Неизбежно, само собой, стремление теряет энергию и слабеет. В непрестанных столкновениях искажается самое вдохновение его. Начинается игра словами вроде того, что «равенство» не есть «уравниловка», хотя при зыбкости всех этих понятий и не видно, как могла бы безупречная, окончательная социальная справедливость без «уравниловки» обойтись.

Полицейское рвение, поощряемое сверху, расцветает пышным цветом. Волчьи инстинкты вырываются наружу, — и в результате получается та страшная карикатура на общее счастье, на рабочий и демократический рай, которую нам и нашей эпохе впервые дано видеть во всей ее полноте.

Выводы из этих размышлений пессимистичны, в особенности, если верно — как утверждал Бергсон в последние годы жизни, — что человек усовершенствованию не поддается и что

сердца и души наши остаются точно такими же, какими были в каменный век. Но в каменный век никто о справедливости не говорил. В наше время есть к ней глубокое влечение, и те, кто при этом охвачен и нетерпением, кто не довольствуется, как британские социалисты, осторожным, кропотливо-упорным, шаг за шагом, ее отстаиванием, те приходят к утверждению насилия в любых его видах.

Зачем?

От вопроса этого можно отмахнуться, сославшись на то, что цепляются, мол, за власть, — и так далее. Согласимся: цепляются за власть. Но есть же и люди, которые у власти не стоят, никакими благами ее не пользуются, и до сих пор твердо уверены, что направление намечено правильно. Нельзя же считать, что все они одурачены, и что следует раскрыть им глаза. Откуда упорство? На что надежда? Неужели верят они, что когданибудь сдерживающее начало страха будет отменено и постройка всё же останется стоять? Или соглашаются на страх, как на один из элементов будущего насильственно-справедливого устройства? Или в самом деле считают, что существует живой организм — коллектив, пролетариат, народ — и что его будущее, общее благосостояние основывается на бесчисленных единичных уступках, жертвах и даже страданиях? Или просто на просто дает себя до сих пор знать революционная инерция?

Даже больше: неужели не случается никакому очередному диктатору, у себя в кабинете, наедине с собой, задуматься над тем же вопросом: зачем? Да, держатся за власть, знают, что отступления нет, отгоняют мысль о расплате. Но после всего этого, помимо этого, должен же возникнуть вопрос: зачем? Неужели всё таки держится еще вера, что «перемелется, мука будет», и если даже ничуть не тревожит мысль о цене, в которую обходится революция, неужели цель ее представляется достижимой, хотя бы через сотни лет?

Когда то, после публичной беседы о первой нашумевшей кестлеровской книге, я спросил об этом Бердяева, лично знавшего главнейших революционных деятелей. Он усмехнулся и сказал:

«Сталин? Сталин во-первых, не понял бы, чего от него хотят. Ленин понял бы с полуслова и в ответ выругался бы. Он был отчаянный игрок, и в пылу игры не думал ни о каких ее конечных целях».

В дверях, при выходе, Бердяев добавил: «Послушайте, в том то ведь и дело, что люди, которые удерживаются во главе революций, об этом не думают! Те, которые начинают думать, попадают в тюрьму, а оттуда отправляются и дальше...».

У Белинского в письме к Боткину есть такое признание:
— Я понял кровавую любовь Марата к свободе...

Здесь два не совсем правильно употребленных слова: во-первых, едва ли в применении к Марату, можно говорить о любви; затем, если и была у Марата любовь, то не к свободе, а к другому облику, к другим стремлениям и другим мечтам революции.

Белинский в своем «неистовстве» всегда захлебывался словами, и требовать от него стилистической точности нельзя, особенно в письме. Но ошибка в выражениях объясняется у него еще и тем, что между понятиями «революции» и «свободы» связь долго казалась неразрывной и естественной. Одно без другого не мыслилось. Белинскому повидимому и в голову не приходило, что революция может свободе быть враждебна.

Вероятно, если бы он знал то, что пришлось узнать нам, рука его дрогнула бы, «понял» не звучало бы у него, как «оправдал», «одобрил», и душевного расположения к Марату оказалось бы у него меньше.

В какие времена мы живем, «переходные» или такие, когда не к чему и переходить? Как разгадать, что происходит сейчас в старой западной культуре: передышка, перед прокладкой «новых рельс», для движения к не совсем еще ясно намеченным целям, а то и вовсе без цели, — или иссякание сил, как у дряхлеющего человека, которому чужды и смешны стали былые его порывы?

Конечно, готических соборов больше не будет, и крестовых походов не будет, и Данта не будет. Но в новом, потускневшем обличьи, с новым, менее декоративным вдохновением, будет еще ли чтонибудь равное всему этому по жизненной силе? Неизбежное, ненавистное Леонтьеву, отвращавшее Достоевского «всемство» приведет ли к окончательным будням истории, без борьбы и без творчества?

В наши дни то или другое мелкое событие, занимающее в газете несколько строк, позволяет иногда «измерить темпе-

ратуру» цивилизации, убедиться, как она изменилась, как постарела.

Несколько месяцев тому назад в Англии скончался доктор Барнс, бывший в течение тридцати лет епископом бирмингемским.

Если бы жил он не в наше время, а лет триста-четырееста назад, имя и дела его потрясли бы всю Европу, наполнили бы ее гневом, содроганием, сочувствием, ужасом, и до нас дошли бы в пламени и дыму поднятых ими пожаров. А теперь — о нем полстранички: чудак, оригинал, сумасброд, — что же о нем долго толковать?

Вот что было необыкновенного в этом епископе: он торжественно, во всеуслышание заявил, что не верит в воскресение Христа — и при этом отказался оставить свой пост. По короткому газетному описанию можно догадаться, как величественна и грозна была бы картина прежде: на собрании высших церковных чинов архиепископ Кентерберийский, бледный от возмущения, глядя в упор на Барнса, требовал от него отставки, а тот, бледный тоже, но спокойный, ответил категорическим отказом, добавив, что в служении Христу — единственный смысл и единственная цель его жизни... Если бы произошло это еще в семнадцатом веке, мы до сих пор слышали бы раскаты голосов, с откликами во всех уголках Европы, угрозы вечными адскими муками, столкновение воли и страстей. А теперь — ничего. Курьезный, оригинальный случай, но в сущности всего только «внутри-церковное» происшествие, которое князья церкви и должны бы между собою уладить.

Вполне возможно, что епископ Барнс в самом деле был чудачком и оригиналом. Не знаю. Но есть что-то трагическое в его — повидимому, глубоко искреннем — желании остаться «слугой Христа», даже если... да, с этим ужасным для всякого христианина «даже если». Есть в его облике что то глубоко преемственное, совпадающее с общей линией протестанства, и как бы ни было понятно и законно негодование архиепископа Кентерберийского, сущность этого негодования в том, что протестантство испугалось самого себя, сжалось, остановилось перед пропастью. Католики давно почувствовали, что к этой пропасти оно неминуемо движется, и подхлестываемые всякими личными счетами и расчетами, личными обидами, прокляли его всё таки именно за направление и путь. Не за обиды же!

Одно имя само собой приходит в голову — Боссюэ, Боссюэт, как писали у нас в старину. Нам, русским, трудно его

читать: слишком пышные фразы, слишком гладкие и гармонические периоды, нас, признаться, немножко, «мутит» от этого, ничего не поделаешь, нам это не совсем по душе, хотя самые требовательные французы — Поль Валери, например — до сих пор считают Боссюэ первым, непревзойденным своим стилистом... Но во всей его деятельности, какой огонь, какая тревога при виде всё увеличивающихся трещин в многовековом здании церкви! Представим себе Боссюэ в столкновении с глазу на глаз с Барнсом: он его убил бы или в пароксизме негодования и изумления умер бы сам. В те годы в Риме была папа, но истинным римским первосвященником был тогда Боссюэ, страдавший, споривший, мчавшийся туда, где была опасность, убеждавший, отстаивавший, утверждавший, между прочим, что у «истинного сына церкви никаких личных мнений быть не может», поддерживавший начавшие сдвигаться стены, готовый сам погибнуть под ними, лишь бы не видеть развалин. Боссюэ был, конечно, глубочайшим консерваторм. Но консерватизм его имел и глубочайший внутренний смысл, глубочайшее оправдание! Боссюэ стоял стражем у входа в вечную жизнь, а не у какого либо политического порядка или сословных преимуществ. И не оттого ли так страстно и требовал он беспрекословного послушания, что слышался ему в дали веков спокойный, холодный голос епископа Барнса: не верю!

В дополнение ко всему тому основному, необходимому и подчас пронизательному, что было о Тургеневе написано, дождемся ли мы когда-нибудь иной статьи о нем, о том, что было в нем самого «тургеневского»?

Определить тему было бы нелегко, — потому, что сущность ее была самым автором тщательно скрыта под бесчисленными наслоениями. Некоторые из них исчезли, и о «певце русской девушки» или «поэте родной деревни» никто теперь не говорит. Но яснее от этого Тургенев не стал.

Забудем Рудина и скучнейшего Хоря с Калинычем, вместе с их общественными заслугами, забудем даже Базарова, как бы ни было жаль с ним расстаться: уж очень он Тургеневу удался, да если и не в нем самом, то в некоторых особенностях рассказа о нем кое-что сквозит очень существенное... Забудем вообще всё то боборыкинское, к чему Тургенев себя принудил: типы и образы сменяющих друг друга поколений, добросовестно уловленные и образцово обрисованные, со всеми их беско-

нечными разговорами. Тургенев оттого и остался холодным писателем. что скучновато ему было обо всем этом писать, и писал он почти что нехотя, сам того вероятно не сознавая.

Был он человек слабый и в себе неуверенный, как будто даже чем-то испуганный. Была вероятно оттого в его писаниях какая-то постоянная фальшь, не громоподобная, взвизывающаяся к небу, как у Гоголя, а вкрадчивая, уклончивая, застенчивая, с усмешечками, вроде, например, упоминания о петухе незадолго до смерти Базарова, петухе, странную неуместность которого так верно и остро уловил покойный Бицилли. Да и не только в иронии тургеневской была тончайшая фальшь. Вспомним «Живые мощи», один из тех рассказов, который больше всего вызвал восхищения, как вещь несомненно классическая. Прекрасный рассказ, и всё в нем кажется прекрасно, пока вдруг не смутишь себя вопросом: а мог бы ли такой рассказ появиться за подписью Толстого? И сразу «Живые мощи» становятся смешны, сразу обнаруживается их сусальная благость, их слащаво-лубочная и декоративная нарочитость.

Но это, — эту фальшиво-дребезжащую струнку, — Тургенев вероятно в себе чувствовал. Как чувствовал вероятно и «прохладность» свою, прохладную, беспредметно-беспричинную свою грусть. Ну, конечно, он навсегда оттеснен на второй план своими двумя «сверстниками-гигантами», — о чем же тут спорить? Но слабый, легкий и тихий голос его никем всё таки не заглушен и до сих пор отчетливо слышен. Особенно если иначе, не так, как прежде, не с теми требованиями, что прежде, к нему прислушаться.

Тургенев только к концу жизни начал становиться самим собой, и только по его поздним вещам можно догадаться, чем должен был бы он стать. Ему повидимому тягостно было жить. Всё и везде ему было чуждо. Одиночество с каждым годом усиливалось. Романы куда то проваливались, в небытие, в неизбежное забвение, и с его умом, мог ли он этого не сознавать, какой бы ни курили ему фимиами! Всё проваливалось, он ни во что не верил, а главное — ничего не пытался изменить. Тут, в этой духовной скромности Тургенева, в отсутствии всякой самонадеянности, и уж тем более, всякой «гордыни», есть что-то неожиданно-христианское. «Смирись, гордый человек!» — вопиял, весь дрожа и задыхаясь от гордости, Достоевский, а Тургенев до него и без него это почти исполнил. Иногда, вдоволь намучившись над Толстым или Достоевским, спрашиваешь себя: а что не ближе ли к тому, о чем с такой испуганной страстью и силой они кричали, не пробрались ли какой-

то окольной тропинкой к недоступному для тех состоянию, именно, как «малые сии», которым всё обещано, а не как самозванные пророки, которым не обещано ничего, словом не лучшие ли христиане — самые тихие русские писатели, Тургенев и Чехов? Особенно Чехов. Но и Тургенев тоже, каким бы эллином он себя ни считал.

В «Стихотворениях в прозе» еще много мишуры. «Как хороши, как свежи были розы» и всё в этом роде, — Бог знает что, если наконец сказать правду, сплошная, нестерпимая патока! Но тут же рядом, удивительные страницы, как, например, рассказ о бабе, которая похоронив сына, молча хлебала щи. Будто проблески — вот, вот, что надо было делать, вот как надо было писать! Если ты действительно грек, как о тебе говорят, в этих шах больше Греции, чем во всех роскошно увядающих букетах... Но поздно. Париж, старость, бесцельная и бессмысленная слава, огромная тень Толстого вдали, как упрек и угроза, и вероятно, тревожные, разъедающие душу воспоминания о попытках самого себя уверить, что вовсе не так он и хорош, что «Война и мир» — дрянь, что «Анна Каренина» еще хуже, а потом, уже совсем перед смертью, знаменитое письмо к нему, образец истинного и естественного человеческого благородства. «Песнь торжествующей любви», тоже с чрезмерным обилием всяких «роз», но уже бесконечно далекая от зарисовки общественных типов и с первым вторжением чертовщины, столь плохо с ними вяжущейся. Мучительная жалость к стареющей Полине и остатки любви. «Моя бедная подруга своим совершенно разбитым голосом поет у себя наверху...». А ей, этой бедной подруге, даже не присылают уже и билетов в Оперу, где она когда-то блистала. Совсем забыли ее, как забудут и его. Как забудут всех. Что она поет? «Нет, только тот, кто знал...», самую магическую из всех мелодий Чайковского, ту, которую поет и Клара Милич. «Ниэт, только тот, кто зналь...». Всё проваливается, но Клара Милич придет с того света говорить о любви, обманывать, утешать, убаюкивать. Никакого нет бессмертия, и Базаров был прав, «лопух на могиле», но пусть это всего только темное волшебство, а Клара Милич здесь, и говорит она о любви. А они? О чем они все шумят? Что им надо? Даже Толстой, ведь тоже немолодой уже человек, какими пустяками он занят! Рассказывает «в чем его вера», учит чему-то. Не всё ли равно, по Толстому ли верить, или так, как верит какойнибудь сельский попик, только и знающий что бормотать «Сусе, Сусе, Христе»? Раз ничего нет? Лучше остаться с попиком, проще, скромнее. Да, есть искусство, и о

Пушкине на московском празднестве он воскликнет — именно «воскликнет», а не скажет: — «сияй же, благородный, медный лик...» — с такой трескучей риторикой, что хочется в стыде и растерянности закрыть лицо руками. Ему самому вероятно было стыдно! Но оттого и «сияй, медный лик», что нет о таких вещах настоящих слов и невозможно найти их. «Боязнь фразы есть тоже фраза». А люди этого не понимают и требуют от старика болтовни на юбилеях и чествованиях. Да, есть искусство, суррогат бессмертия. Надо было бы иначе ему служить, писать о Кларе Милич, т. е. не о ней именно, а в этом плане, без параллелей между эпохами и поколениями. Но поздно, «кладу перо», как издевался ослепший от ненависти Достоевский, «мерси, мерси», страшно, смерть идет, никто не может помочь, полное одиночество и холод вокруг, как холоден «зеленый зимний край неба в окне», о котором упоминается в одном из его последних писем. И что обещает он, этот край неба, о чем говорит он, кроме игры бессмысленных сил и наших миражей? Надо по мере возможности жить просто, жить благожелательно к другим, жить как живут другие, не в том смысле как понимал это поручик Берг, а в смысле круговой поруки перед общей для всех участью, пожалуй даже по-базаровски резать лягушек во имя прогресса и цивилизации, и конечно молчать о том, что за «зеленым краем неба» решительно ничего нет и что даже Клара Милич со всеми потусторонними видениями — жалкий самообман, ампула морфия, помогающая сносить боль до той минуты, когда ни боли не останется, ничего...

А. говорил мне:

1) Да, нечего от себя скрывать истину: конечно, христианство не удалось. Исторический размах был огромный, но он давно уже суживается, и теперь вопрос только в том, удержится ли хоть чтонибудь...

Верующие скажут, что скрыта здесь великая тайна и великая надежда. Может быть! Но и верующим вероятно случилось ночью, в часы бессонницы, когда всё такое в уме перебираешь, вдруг вздрогнуть, чуть ли не вскочить в недоумении: как же так, если действительно это Бог послал двадцать столетий тому назад своего Сына на землю, если это правда, неужели могло бы всё ограничиться частичным и в сущности скромным успехом? За двадцать столетий неужели не произошло бы торжества несомненного и окончательного? Тайна! — не-

возмутимо ответят верующие. Но рассудок даже и при самом страстном стремлении к вере сохраняет свои права и на согласия «quia absurdum» идти колеблется. Именно для рассудка, для разума христианство не удалось, то есть не удалось как целое, с его будто бы всемирным и всечеловеческим предназначением. А что в отдельных душах оно еще живо, да вероятно и всегда будет жить, кто же это отрицает?

Но вот что мне хотелось бы добавить: даже то частичное, даже то ограниченное, чего христианство достигло, есть ошеломляющее чудо истории! И тут действительно есть какая то тайна. Потому, что невозможно ведь ничего представить себе, что было бы в более очевидном разладе с природой, со всеми ее естественными силами, всеми ее потребностями, всеми ее законами.

Об этом верно... но, поймите, я не соглашаюсь с ним, я только нахожу, что по своему он был прав!.. об этом хорошо сказал Цельсий: для них зло есть добро, — а добро есть зло. Для них, то есть для первых христиан, — и это же вместе с ним ощутил весь Рим, вероятно не допускаящий на первых порах и мысли о возможной победе какой то темной и безумной ереси.

Было синее небо: христианство сказало — нет, ночное небо лучше! Было здоровье и сила: христианство сказало — нет, плоть есть враг человека и надо ее умерщвлять! Было счастье: христианство сказало, — нет, друзья, будем страдать и плакать! И так далее и так далее, почти до бесконечности, — всё оказалось вывернуто на изнанку. Нормально, мир должен был бы расхохотаться, залиться плотоядным, презрительным смехом и вытолкнуть всех этих сумасшедших евреев обратно, в их вечно-сумасшедшую Палестину, вместо того, чтобы приняться окрашивать их бред в благородные эллинистические тона. Но случилось то, чего нельзя было ждать, и никакие ссылки на тоску и растерянность языческого мира к началу нашей эры всего не объясняют и не оправдывают. Стоит только стряхнуть с себя нашу общую двадцативековую привычку к результатам этой «переоценки ценностей», как слова Цельсия предстают во всей своей неопровержимости. Действительно, есть тут какая то тайна, или скажем проще: загадка!

2) Под окном шла бесконечная католическая процессия, с детьми впереди, со взрослыми за ними, с крестами, хоругвями, священниками, певчими, затем снова детьми, с какими то стариками и старухами, и была на всех лицах такая глубокая,

счастливая вера, что я вспомнил Розанова, одну из тех фраз его, которые пронзили меня на всю жизнь: «И да сияют образа эти вечно!», из предисловия к «Лунному свету».

Да, вспомнил Розанова: в сущности жалкий писатель, непомерно сейчас раздуваемый, гений для разбитых душ, для растерянных, сбитых с толку людей, для всех тех, кто болен несварением духовного желудка, отказывающегося принимать твердую пищу, болтун, которого наши литературные неврастеники чуть ли не сравнивают с Паскалем, — и всё таки единственный русский подлинно христианский писатель по тону и интонации, т. е. по тому, что нельзя подделать. «И да сияют образа эти вечно!» Ведь как сказано, с какой болью, с какими отзвуками! Да и всё это предисловие, как оно написано! А примечания к статье Сикорского в «Темном лике»! Если бы хоть раз, у одного из наших нео-христиан, попалась хоть одна такая фраза, всё значение их писаний было бы иное...

Но я отвлекся, оставим Розанова... Так вот, шла у меня вчера под окном католическая процессия. На всех лицах была вера, и если бы любого из шедших спросить: ты знаешь, что ждет людей за гробом? ты знаешь, что будет Страшный Суд? ты знаешь, что есть рай и ад? — каждый без колебаний ответил бы: верю, знаю.

И вот я подумал: до чего доверчивы люди! В сущности, они ведь ровно ничего не знают. Но им сказали, что за гробом будет то-то и то-то, что на небесах происходит то-то, — и они приняли всё это, как истину, с чужих слов. Духовный опыт? Бросьте ссылаться по привычке на этот вздор. Духовный опыт, если и бывает, то у одного человека на миллионы, да и то сводится он к чему то бесформенному и неуловимому. А тут ведь у каждого в голове таблица с описанием и расписанием всевозможных потусторонних происшествий, и ни малейшего сомнения насчет ее точности... До чего доверчивы люди! Откровение? Откровение, если и было, то ведь никак не у них, им рассказали, что было откровение, что в таких то книгах оно запечатлено. И они поверили! Если вдуматься, это ошеломляет. Один за другим, идут, поют, что то будто бы знают, веками, веками, и всё с чужих слов... Но и хорошо, что верят, было бы в мире больше несчастных людей, если бы не верили, «и да сияют образа эти вечно!»

3) У меня нет сына. И пожалуй, слава Богу, что нет. Потому, что если бы у меня был сын, я не знал бы что ему сказать. Знаете, я всегда представляю себе — хоть на деле это

вероятно редко случается, — что в шестнадцать-семнадцать лет мальчик может придти к отцу и сказать приблизительно следующее: «папа, ты прожил несколько десятков лет, ты много видел и читал, много думал, скажи мне, — что такое жизнь? скажи мне, как надо жить?»

И я не знал бы, что ему ответить. Вероятно, я сказал бы ему то же самое, что сказали бы в таком случае и другие: надо работать, надо иметь идеалы, надо быть честным и смелым, надо уважать чужие мнения. Надо, наконец, «бороться», как принято выражаться: неизвестно, за что бороться, но бороться. Как же в самом деле не «бороться»? Но если бы сын у меня был умный, не такой, от которого можно отделаться прописями, он понял бы, что у меня нет для него ответа. Не только насчет того, что такое жизнь, — тут никакого ответа и не может быть! — но и о том, как следует жить и что важнее всего в этом смысле. Да, я прожил несколько десятков лет, читал, вглядывался, и по мере отпущенных мне сил думал. Но чем глубже вдумываюсь, чем больше себя проверяю, тем яснее сознаю, что не могу ни на чем остановиться окончательно. Конечно, надо работать! Конечно, надо бороться! Но... но... и тут меня охватывают такие сомнения, и даже, за других, такая усталость от трудолюбивой поддержки всех наших шатающихся устоев, что в конце-концов положил бы я сыну руки на плечи и сказал бы: «не знаю, дорогой! И не верь тем, которые думают, что знают». Если бы он хотел просто на просто добиться успеха в жизни, рецептов для этого сколько угодно. Но сомнения то мои именно к успехам и обращены, притом не только в грубых их видах, но и в других. Пожалуй всё таки кое что я советовал бы... Как там сказано — «учитесь властвовать собой»? Так вот, не «властвовать», а «жертвовать»: учитесь жертвовать собой. Не очень собой дорожите, а остальное приложится... да, приложится, даже если с такими советами как мои, и умрешь ты где нибудь под забором, не оставив никакого следа, ни на каком «поприще». Вот насчет «поприща» ничего сказать не могу, — но ведь ты не об этом и спрашивал, правда, а?

(Позднее, уже записав это, вспомнил я две строчки Виньи:

Fais energiquement ta longue et lourde tache,

Puis un jour, comme moi, souffre et meurs sans parler.

Но это — не ответ. Весь смысл этого горестного, достойного, но мало убедительного стоицизма в том, что ответа не существует).

4) Вспоминая свою молодость, я даже приблизительно не могу определить, когда именно наступил в ней перелом, по моему очень важный. И присматриваясь к теперешним «русским мальчикам», да и не только русским, тоже не знаю, когда это с ними случается. Но должно бы случиться непременно, и собственно говоря, только с этого момента человек становится взрослым.

В ранней юности само собой возникает противопоставление: «я», «мы», т. е. сверстники — и «они», старшие. «Они» представляются силой или средой, если и не враждебной, то чуждой: вроде, как если бы мореплаватели, высадившись на неведомом острове, нашли там туземцев, занявших лучшие места. Что у «нас» с «ними» общего, в самом деле? Иной язык, иные нравы, иные влечения и надежды. Бывает даже, что налет «чуждости» ложится в юности на самую жизнь: самая жизнь «нас», еще ничем с ней прочно не связанных, будто бы не касается, и участвовать в ее передрыгах «мы» не намерены. «Они» что-то там намудрили, напутали, каких то бед натворили, пусть в них и разбираются, а мы постоим в стороне.

Вероятно перелом наступает с первым толчком сзади, от новых, следующих мореплавателей, и случается это рано, лет в тридцать, а то и раньше. Человек вдруг понимает, вернее чувствует, что попал в ловушку и что у судьбы нет ни желания, ни основания, ни даже возможности отнестись к нему иначе, чем к другим. Иллюзии насчет стояния в стороне рассеиваются. «Товарищ, друг, дай мне руку», как сказано у Блока. Но те, очередные «новые», в рукопожатьи не нуждаются, и приняли бы его нехотя, со скептической, недоумевающей усмешкой. До следующего, очередного толчка, когда в том же положении окажутся и они.

5) Было время, я любил читать новые книги, бывать там, где обсуждались новые идеи, новые стихи, то вообще, что называется «веяниями».

Но теперь мне почти всё стало казаться так глупо и ничтожно, настолько «ни к чему», что, честное слово, предпочитаю я сидеть у себя сложа руки и смотреть в потолок. По крайней мере, «покой и свобода!» Раскройешь журнал: Боже мой, о чем они пишут! и как пишут! Пойдешь на какое нибудь собрание: Боже мой, какие самодовольные физиономии, какое пустословие! Хочется бежать, выйти на улицу, где небо,

дождь, ветер, и никто не лезет из кожи, чтобы продемонстрировать, какой он умный... Но в глубине-то души я прекрасно знаю, в чем дело, и если бы не лукавил, должен был бы сказать сам себе: ничто не изменилось, люди не хуже и не лучше, чем были прежде, это ты, голубчик, уходишь мало по малу из жизни, выпускаешь ее из рук — и брюжжишь, а то даже сердисься, что она продолжается и без тебя!

б) Страх смерти... Скажите, любили ли вы кого-нибудь сильнее, чем самого себя? Жив этот человек или умер? Если умер, то вы меня поймете... Как же могу я бояться того, что случилось с ним? Раз с ним это случилось, если он умер, если он перешел какую-то пугающую всех людей черту, как же могу я ужасаться, отвливать, гнать от себя мысль о смерти? Если ему было страшно, может ли меня страшить то, что пришлось испытать ему? Исчезнуть там же и так же, где исчез и он? Нет страха. Вы может быть думаете, что сказывается расчет на проблематическую потустороннюю встречу? Нет, едва ли, да у меня-то лично, какие уж там расчеты! Инстинкт справедливости тоже не при чем. Сказывается исключительно любовь, которая требует для меня того же, что случилось с ним. Я не могу не хотеть того же самого, я всем существом своим готов к тому же самому, как бы оно, это «то же самое», ни было безнадежно и беспросветно. Да, стена. Но я хочу разбиться о эту же самую стену, и ни на что другое я не согласен, даже если бы это было возможно...

«Люди не могли бы жить, если боги не дали бы им дара забвения».

Кому из великих древних поэтов, Эхилу или Эврипиду, принадлежит эта глубокая и верная мысль? Вероятно, это Эврипид, который вообще много сказал такого, что кажется сказанным не две с половиной тысячи лет тому назад, а вчера.

Дар забвения... Если мы теперь пишем, просматриваем журналы, ходим на литературные собрания, невозмутимо спорим о том, какова должна быть в наши дни поэзия и влияет ли кинематограф на литературу, если вообще мы «живем», в том суетливом, мелком, повседневном, ничтожном смысле слова, которого нечем заменить, если даже по мере сил, со «скудеющей в жилах кровью» еще влюбляемся и скучаем, то только

благодаря тому, что наделены способностью забывать. Иначе мы должны были бы сойти с ума или сидеть в каком то столбняке, недоумевая: неужели всё это было? как всё это могло случиться? как же после этого перейти к житейским очередным делам?

Неправильно было бы сказать, что человек отгоняет от себя тревожащие его воспоминания. Не приходится и отгонять. Нечего отгонять. Воспоминания лежат под спудом, они не уничтожены, но вытеснены в прошлое, и не влияют ни на мысли наши, ни на поступки. Иначе нельзя было бы жить. Внезапно, как молния, то или другое из них пронесется в сознании, взбудоражив его, а затем опять тьма, безразличие и привычные интересы или заботы. Двигало ли богами милосердие к человеку, было ли у них к нему скорей пренебрежение, как к созданию не совсем удавшемуся, с которым не стоит и возиться, — кто скажет? Но некое соответствие между существом и существованием, между нами и жизнью оказалось во всяком случае соблюдено.

Случается над этим задуматься. Попадется какаянибудь газетная статья, вроде той, на которую хорошо, с верным указанием на «нерелигиозное использование религии», ответил недавно епископ Иоанн. Попадется роман, вроде «Хождения по мукам», книги столь же отвратительной, сколь и талантливой, книги о которой хотелось бы сказать, что она слишком легковесно-занятна для своей темы, слишком пестра, бойка, картинна, шаблонно-увлекательна, что в ней «хождений» много, а «мук» мало, что тему свою она погребла под всякими беллетристическими завитушками и виньетками, правда, прекрасно сработанными... Прочтешь, перечтешь чтонибудь такое, «бередящее старые раны» — и задумаешься над многолетним бесчувствием и беспамятством человека. Не будь человек чурбаном, мы не находили бы себе места, выли бы от ужаса и стыда, усиленного еще и тем, что повидимому «так было и так будет», пока стоит свет. Мы бросили бы запоздалые, мстительные, глупые взаимные обвинения, поняли бы, что все виноваты, каждый по своему, что всем есть в чем упрекнуть себя, есть от чего внезапно покраснеть «до корней волос», что в судьи нас никто не ставил, что слепая жестокость истории воплощается в отдельных волях, которыми играет, как пешками, что какая то общечеловеческая круговая порука должна бы восторжествовать над раздорами, над страшным и бессмысленным месивом последних десятилетий. Одним словом, мы не «жили» бы, а остановились бы в оцепенении, со внезапной

остановкой всех бесчисленных мелких колесиков, на которых теперь благополучно катимся от одного дня к другому, от года к другому году, и дальше, к общему для всех финалу, с речами, венками или без речей и венков... Но надо жить: да, конечно, это всё ужасно, да, поговорим об этом когда-нибудь в другой раз, да, совершенно верно, нельзя забыть, «человек человеку бревно», конечно... а знаете, сегодня вечером г. Икс, только что прилетевший из Германии, читает доклад с любопытнейшими, говорят, прогнозами насчет эволюции международных взаимоотношений. Наш г. Игрек рвет и мечет, собирается возражать, говорит — провокация! Надо бы сбегать за билетиком... или при входе?

Еще за тысячу лет до Лютера в пределах католической, тогда уже признанной церкви, впервые разыгрался великий спор о смысле веры. Противниками выступили с одной стороны — Блаженный Августин, с другой — Пелагий и его союзники Целсетий и Юлиан из Аклаула. И католические и протестантские историки сходятся в одном убеждении — спорящие стороны стоят в своей искренности вне всяких подозрений. Бл. Августин говорил то, в чем он был глубоко убежден; Пелагий в самом деле готов был даже жизнью защищать свои идеи. Оба они, притом, были верными сынами церкви — и тому и другому казалось, что они отнюдь не новаторы, не выдумщики, что они защищают не *свое*, а полученное от предков достояние¹. И внешние источники у обоих были одни и те же, как у всех католиков начала V-го века. Они читали св. Писание и в св. Писании находили себе оправдание. И тем не менее, при всем желании их найти истину и при всей боязни внести раскол среди верующих — они никак не могли сговориться. Происходили бесконечные диспуты и объяснения, писалось множество больших и малых книг, но это не подвигало дела. Пелагий с

* Мы печатаем III-ью, IV-ую и V-ую главы о бл. Августине из неизданной и незаконченной книги Льва Шестова — *Sola Fide* — Лютер и Церковь, — написанной, предположительно, между 1910 и 1914 годами. Первые две главы были уже напечатаны в Париже, в «Вестнике русского студенческого христианского движения», Май — Июнь, 1952. Рукопись нам была предоставлена Н. Л. Барановой, дочерью покойного автора. *Ред.*

¹ Reuter, (38e Augustische Studien) говорит о Pelage und Celse: «Der gewohnheitsmäßige Gehorsam gegen die Autorität der Kirche war auch der ihrige. Beide Männer verfolgten als gute Katholiken augenscheinlich eine kirchliche *konservative* Tendenz von irgendwelchen schismatischen Neigungen finden wir bei denselben keine Spur. (Привычное повиновение авторитету церкви было и у них. Оба следовали повидимому, как добрые католики церковной консервативной тенденции; мы не находим у них и следа какой либо еретической склонности).

товарищами оставался при своем, бл. Августин — при своем. Церковь, как известно, осудила Пелагия, приняла сторону бл. Августина и обязала всех католиков держаться учения о спасении верой. Но осужденные не понимали смысла произнесенного над ними сурового приговора. Им казалось, что они выступили в защиту правды, Божьей правды — отчего же у них не хватило сил победить явное заблуждение? Отчего блаженный Августин, которого все чтили и уважали, не видел того, что для них представлялось таким очевидным? С этого вопроса мы начнем и затем уже войдем в сущность великого спора.

И протестант Гарнак, и католик Дюшен единогласно утверждают, что взаимное непонимание бл. Августина и Пелагеи коренится в разнообразии их индивидуального опыта.

“Dort ist es ein heissblütiger Mann, der nach Kraft und Seligkeit gerungen hat, indem er nach Wahrheit rang, dem die sublimsten Gedanken der Neuplatoniker, die Psalmen und Paulus das Räthsel seines Inneren gelöst, und den die Erfahrung des lebendigen Gottes überwältigt hat. Hier sind es ein Mönch und ein Eunuch, beide ohne Spuren innerer Kämpfe, beide begeistert für die Tugend, beide erfüllt von dem Gedanken, die sittlich träge Christenheit zur Anspannung des Willens aufzurufen und sie zur mönchischen Vollkommenheit zu bringen, beide mit den griechischen Vätern wohl vertraut, Beziehungen zum Orient aufsuchend, in der antiochenischen Exegese bewandert, vor Allem aber jener stoisch-aristotelischen Popularphilosophie (Erkenntnistheorie, Psychologie, Ethik und Dialektik) huldigend, die unter den gebildeten Christen des Abendlandes so viele Anhänger zählte² A. von Harnack, *Lehrbuch der Dogmengeschichte*, Bd III, S. 168).

² Там человек горячего темперамента, который боролся за силу и блаженство в то время как он боролся за истину, которому возвышенные идеи неоплатоников, псалмы и Апостол Павел разрешили загадку его внутренней жизни и которого покорило познание живого Бога. Тут монах и евнух, оба без следа внутренней борьбы, оба одушевленные добродетелью, оба полные мыслью призвать морально вялое христианство к напряжению воли и привести его к монашескому совершенству; оба хорошо знакомы с учением греческих отцов и ищут общения с Востоком и сильны в антиохическом толковании св. Писания, но особенно почитают стоическую аристотелевскую, популярную философию (теорию познания, психологию, этику и диалектику), которая насчитывала много приверженцев между образованными христианами Запада. (Гарнак. Учебник догматики. Том III, ст. 168).

То же подчеркивает Дюшен. И он, как Гарнак видит, причину разногласия между Августиним и Пелагием в несходстве их прошлого внутреннего опыта:

Augustin, qui était venu à la vertu en passant par le vice et qui n'était sorti de ses désordres qu'en se sentant appréhendé très fortement par la main de Dieu, Augustin devait à sa propre expérience un profond sentiment de l'infirmité humaine et du secours divin"³ (Duchesne, Histoire Ancienne de l'Eglise; Vol III p: 203. Ed. Fontemoine. Paris 1911).

Того внутреннего опыта, который был у бл. Августина — у Пелагия не было. Пелагий не знал мучительной внутренней борьбы, тех припадков от сомнения в себе и отчаяния, о которых так много рассказывает Августин в своей «Исповеди». В его прошлом всё было гладко. Он с детства был христианином, в противоположность Августину, который только в зрелом возрасте принял крещение. Он не знал, как Августин внезапных, чудесных просветлений, но не знал и падений. Идя к вере и к добродетели — он благополучно миновал те области, в которых гнездятся пороки и неверие. Казалось бы — а priori — что все преимущества на стороне чистого и сильного Пелагия. Он твердо шел прямым путем к своей высокой цели — разве это не великая заслуга? Путь его был нелегкий — путь лишений и трудностей. Разве это не обеспечивало по крайней мере морального успеха, не давало ему права на удовлетворение, на сознание своей правоты, своего превосходства над теми, кто только под влиянием позднего раскаяния исполняли веления Божии? И неужели не ему, праведнику, а заблудившимся дано было постичь и возвестить миру истину. Как бы вы не решали вопроса, как бы ни влекли вас все ваши симпатии к праведному Пелагию — история, как я говорил, решила спор в пользу Августина. И не только католическая церковь — авторитета которой многие, конечно, не согласятся признать, но и представители современного мышления — я назвал уже двух замечательных ученых — без колебания и даже с особым торжеством присоединяют свои авторитетные голоса к суду истории.

³ Августин, который достиг добродетели, пройдя через порочность, и который вышел из своего заблуждения только благодаря чувству, что рука Божия с великим могуществом завладела им, обязан был собственному опыту глубоким чувством человеческой немощи и божественной помощи.

Вот как формулирует Гарнак сущность пелагианского спора:

“Die beiden grossen Denkweisen — gilt die Tugend oder die Gnade, die Moral oder die Religion, die ursprüngliche unverlierbare Anlage des Menschen oder die Kraft Jesu Christi?⁴ (A. von Harnack, *Lehrbuch der Dogmengeschichte*, Bd 111, S. 166) Verlag Mohr, Tubingen 1910).

Т. е. блаженный Августин видел единственную возможность человеку спастись в благодати, в сверхъестественном, в чудесной силе Христа, в религии, — Пелагий же основывал все свои надежды на нравственности, на добродетели, на заложенные в природе человеческой начала. Непосвященный мог бы с удивлением спросить — да разве тут есть или может быть какое нибудь противоречие? Разве религия и мораль враждуют между собой? И разве Пелагий был не религиозным человеком? Как могло придти в голову Гарнаку так формулировать сущность пелагианского спора. Меж тем, Гарнак несомненно прав. Но, кажется, я не ошибусь, если скажу, что едва ли Гарнак отдавал себе ясный отчет, к чему обязывает такая постановка вопроса, едва ли он, как и Дюшен, видел те последствия, которые естественно вытекают из предложенного им психологического объяснения августиновского понимания благодати. Если к истинной религии можно придти только через грех и, если не грешивший не может уверовать — то стало быть грех есть необходимое условие веры. И т. к., по убеждению и Гарнака и его постоянных противников, католиков, — вера есть высшая ценность, то значит и ее необходимое условие грех — должен быть тоже высоко оценен. И, наоборот, та добродетель, которая привела несчастного Пелагия к его заблуждениям, должна быть нами отвергнута. Несомненно весь пелагианский спор, как вокруг своей оси, вращался вокруг понятия о грехе, как ни странным и бессмысленным это не покажется. Неправильно, или неточно было бы сказать, что Пелагий отвергал учение о благодати. Он говорит:

“Deus, per doctrinam et revelationem suam, dum cordis nostri oculos aperit, dum nobis, ne praesentibus occupemur, futura demonstrat, dum diaboli pandit insidias, dum nos multiformi et ineffabili dono

⁴ Два основных образа мысли: что стоит больше добродетель или благодать, мораль или религия, первичная неутрачиваемая склонность или сила Иисуса Христа?

gratiae caelestis illuminat ... Qui haec dicit gratiam tibi videtur negare?"⁵ (Tixeront, Histoire des Dogmes Vol II, p. 445; Ed Gabalda, Paris 1909).

Затем, далее⁶, исходя из идеи о том, что Бог должен быть справедливым — и что люди, знающие, что справедливо и что несправедливо — могут постичь сущность Божьего суда, он утверждал: «ibi vero remunerandi sint qui bene libero arbitrio utentes merentur Domini gratiam et ejus mandata custodiunt»⁷.

И, в самом деле, если наши понятия о справедливости чего нибудь стоят, т. е., если выражаясь словами Сократа, нормы разумного равно обязательны и для смертных и для бессмертных — что может быть справедливее рассуждений Пелагия? Или разве не прав он, когда говорит:

“Praesciebat ergo (Deus) qui futuri essent sancti et immaculati per liberae voluntatis arbitrium, et ideo eos ante mundi constitutionem, in ipsa sua praescientia, qua tales futuros esse praescivit elegit. Elegit ergo antequam essent, praedestinans filios, quos futuros sanctos immaculatosque praescivit; utique ipse non fecit nec se facturum, sed illos futuros esse previdit.”⁸ (Tixeront II, 446)

⁵ Посредством научения и Своего откровения, Бог то открывает нам очи нашего сердца, то показывает будущее, чтобы мы не заняты были делами настоящего, то раскрывает козни дьявола, то просвещает нас многообразным и неослабным даром небесной благодати... Кажется ли тебе, что утверждающий это отвергает благодать?

⁶ “Nihil potest per sanctas Scripturas probare, quod justitia non potest tueri” (Julian, Op. imperf. II. 17, приведено Harnack III, 197) (Ничто не может быть доказано Священным Писанием, что не может быть оправдано справедливостью).

⁷ Поистине, да будут вознаграждены те, кто хорошо используя свободу воли, заслуживают благодать Бога и сохраняют Его заповеди...

⁸ Итак, Бог наперед знал, кто окажется в будущем святым и непорочным через суждение своей свободной воли, и потому избрал таких прежде сложения мира в самом своем предзнании, которое ведало наперед, что они станут такими. Следовательно, Он избрал их прежде, чем они стали бы такими, предназначая к сыновству тех, кого он наперед знал как будущих святых и непорочных. Во всяком случае, Он не совершил это, но предвидел то, что они станут, а не Он их сделает такими.

Если бы Сократу представили все эти рассуждения, они показались бы ему, может, до некоторой степени фантастическими, в своих основаниях, но несомненно глубоко последовательными и высоко нравственными. Толстой несомненно тоже принял бы их с самыми незначительными и не существенными оговорками. Ибо, если Бог всеведущ и справедлив и, если мы, употребляя слова всеведение и справедливость, знаем, что мы говорим, то Пелагия решительно нельзя ни в чем упрекнуть. Он проповедует те же высокие идеи о вечной справедливости и последнем нелицеприятном суде, которые до сих пор поражают всех читателей в платоновском Федоне. Или и наши современники заблуждаются, поклоняясь языческим добродетелям — «*virtutes gentium splendida vitia sunt*»⁹. Но, посмотрим, как было сформулировано обвинение против пелагианцев. Вот девять положений, извлеченных из сочинений Целсетия и других единомышленников Пелагия:

Adam mortalem factum, qui sive peccaret, sive non peccaret, moriturus esset.

Quoniam peccatum Adae ipsum solum laeserit, et non genus humanum.

Quoniam Lex sic mittit ad regum quemadmodum Evangelium.

Quoniam ante adventum Christi fuerunt homines sine peccato.

Quoniam infantes nuper nati in illo statu sunt in quo Adam fuit ante praevaricationem.

Quoniam necque per mortem vel praevaricationem Adae omne genus hominum moriatur, neque per resurrectionem Christi omne genus hominum resurgat.

Posse hominem sine peccato, si velit, esse.

Infantes, etsi non baptizentur, habere vitam aeternam.

Divites baptisatos nisi omnibus abrenuntient, si quid boni visi fuerint facere, non reputari illis, neque regnum Dei posse eos habere.¹⁰ August. De gestis Pelagii; Tixeront II, 447)

⁹ Языческие добродетели суть блистательные пороки.

¹⁰ Адам, будучи сотворен смертным, должен был умереть, грешил бы он или нет.

Потому что согрешение Адама погубило его одного, а не род человеческий.

Потому что, таким образом, закон, как бы ввел царство Евангелия.

Теперь, по приведенным, осужденным утверждениям Пелагия, мы уже можем до некоторой степени видеть, что оттолкнуло блаженного Августина от этого учения. И, вместе с тем, нам станет понятным, почему Дюшен и Гарнак так уверенно приписали бл. Августину психологические побуждения грешника.

Нужно, впрочем, оговориться — и идеи Августина, и идеи Пелагия вовсе не были впервые ими высказаны. Католическая церковь уже давно знала и те и другие. В Пелагианском споре они только впервые были выражены с той отчетливостью, которая всем с очевидностью выяснила их вечную непримиримость.

Пелагий — и это, собственно, источник всего его учения, верил, что *posse hominem sine peccato esse et Dei mandata facile custodire, si velit*¹¹ (Harnack III, 178) — человек, если захочет, может быть безгрешным. Почему так верил Пелагий — я не думаю, что кто-нибудь бы мог дать удовлетворительный ответ на такой вопрос. Но, несомненно, повидимому, одно — и в этом можно согласиться с Гарнаком, — Пелагий и Целсетий не чувствовали себя грешниками. И это с их стороны не было лицемерием, или фарисейством. Даже наоборот — в слове «*facile*» (оно не везде встречается) как будто бы слышны некоторые скромность и смирение. В устах Пелагия (не Целсетия, конечно) оно было преувеличением, и даже значительным. Из сохранившихся о нем сведений — видно, что даже враги его, а таковых у него было не мало, принуждены были давать

Потому что, прежде пришествия Христова люди были без греха.

Потому что дети рождаются в том состоянии, в котором Адам был до своего вероломства.

Потому что не из за смерти и вероломства Адама умрет весь род человеческий, как не воскреснет он из за воскресения Христа. Человек, если он хочет, может быть безгрешным.

Дети, хотя бы и не крещенные, имеют вечную жизнь.

Если крещенные богачи не откажутся от всего своего, даже хотя бы и казалось, что они делают кое-что доброе, оно не вменяется им и они не могут получить Царствия Божия.

¹¹ Человек может быть безгрешным и легко сохранять заповеди Бога, если он хочет.

лучшие отзывы о его жизни¹². У него слово не расходилось с делом. И, конечно, раз так, раз в самом деле он не отступал от заповедей Божьих, ему жить было нелегко. И то, с какой настойчивостью он повторял, что человек может быть безгрешным, указывает нам, что может быть в этом сознании своей чистоты и правоты пред Богом, было его главное и даже единственное утешение жизненное.

*Omne bonum ac malum, quo vel laudabiles vel vituperabiles sumus, non nobiscum oritur, sed agitur a nobis; capaces enim utriusque rei, non pleni nascimur.*¹³ (Loofs. Leitfaden (zum Studium der Dogmengeschichte Seite 427. Verlag Niemeyer, Halle 1906).

За зло и за добро мы заслуживаем порицания и похвалы — разве может быть в этом сомнение. А, если так, если мы заслуживаем похвалы и порицания за наши дела, то немисливо допустить, что не в нашей воле, не в нашей возможности поступать так, или иначе. И еще меньше можно допустить, что мы не вправе испытывать удовлетворение от заслуженной похвалы или оставаться равнодушными к порицанию. Или дела человека, его жизнь совсем не могут быть подвергнуты моральной оценке? Все люди равно *laudabiles* (достойны похвалы) и равно *vituperabiles* (достойны порицания)? Но знаете ли, что это значит? Даете ли вы себе отчет, что вы подошли к той страшной формуле, которую, конечно, и Гарнак и Дюшен, так смело во имя религии выступившие против Пелагия, никогда не принимали и не примут? Это ведь и есть «по ту сторону добра и зла». Пелагию, так же как и Сократу, казалось, что стереть различие между добрыми и злыми, между *laudabiles* и *vituperabiles*, значит уничтожить и религию и самого Бога. Все одинаково хороши, все одинаково правы, Анит и Мелит предстанут на страшном суде такими же чистыми или такими

¹² Августин говорит о нем: «*Pelagii nomen cum magna ejus laude cognovi*» (Harnack, III, 172). (Я услышал имя Пелагия с большой похвалой ему). Гарнак говорит:

Der Ernst und die "Heiligkeit" des Pelagius sind vielfach bezeugt vor Allem von Augustin selbst und Paulin von Nola (Harnack. III, 169). (Серьезность и святость Пелагия многократно засвидетельствованы, прежде всего самим Августином и Paulin von Nola.

¹³ Всякое добро или зло, за которые нас можно похвалить или порицать, не возникает с нами, но нами совершается. Мы восприимчивы к одному и другому, а не рождаемся с ними.

же запятнанными, как Сократ и Платон. И Нерон и Каллигула не имеют никаких преимуществ пред теми бесстрашными христианами, которых они посылали *ad leones* (к львам)?

Ведь единственное преимущество в этой жизни для хорошего человека — это сознание своей хорошеи — и это хотят отнять. Его хотят заставить думать, что все его труды напрасны, что грех Адама, отдаленнейшего праотца, передался ему по наследству, что уже по самой своей природе он заражен и такой страшной болезнью, бороться с которой у него нет сил. И, что, если ему суждено спастись, то это спасение не в его воле и не от его усилий зависит. Весь труд, который он положил на то, чтоб соблюдать заповеди Божьи, напрасен.

Помимо того, что такое сознание отнимает у человека праведного его нравственную опору, к каким ужасным последствиям ведет учение о том, что спасение человека не зависит от него. «Когда я говорю о нравственности и об началах святой жизни, я прежде всего выдвигаю на вид заложенные в человеческую природу способности и показываю, что может сделать человек *ne tanto remissior sit ad virtutem animus ac tardior, quanto minus se posse credat et dum quod inesse sibi ignorat id se existime non habere*»¹⁴ (Pelag. ep. ad Demetr., Harnack III, 171). И ведь это верно: если задача человека — нравственное усовершенствование, то, ведь, ему прежде всего нужно знать, что у него есть силы для выполнения ее, иначе, естественно, у него опускаются руки и вместо того, чтоб бороться с враждебными ему соблазнами, он поддается им. Оттого Пелагий и его союзники так много и настойчиво говорят о свободе воли. «*Voluntas est nihil aliud quam motus animi cogente nullo*» — свобода есть не что иное, как ни чем не связанное движение души. Всё их учение собственно является развитием двух принципов — принципа, высказанного Сократом — и воспринятого как всеми его преемниками — Платоном, Аристотелем и стоиками и даже сохранившегося, в конце концов, и в неоплатонизме — что нормы добра стоят над Богом, а не наоборот и соответственного принципа о свободе воли. *Libertas arbitrii, qua a Deo emancipatus homo est, in admittendi peccati et abstinendi a peccato possibilitate constitit*¹⁵. (Tixeront II, 438).

¹⁴ Дух не настолько вял и медлителен в достижении добродетели, насколько считает себя менее способным к ней, и пока он не знает, что в нем заложено, считает себя не обладающим этим.

¹⁵ Свобода решения, которой человек почтен от Бога, состоит в отбрасывании греха и воздержании от возможности его.

В этих кратких словах герольд пелагианства — Юлиан верно и метко сформулировал основную мысль того течения, выразителем которого он являлся. Это говорит и Гарнак. «В приведенном положении Юлиана собственно ключ ко всему строю его мыслей: свободно созданный человек противостоит в своей собственной сфере совершенно самостоятельно Богу. Бог является только впоследствии (при суде).» Но Гарнак прав только постольку, поскольку в положении Юлиана он верно увидел ключ к пелагианской системе. Но никак нельзя согласиться с тем, что пелагиане хотели освободиться, т. е. удалиться от Бога. По моему, это совершенно ненужное искажение всего их учения. Гораздо вернее, когда Гарнак, вместе со всеми прочими историками, и протестантскими и католическими, говорит о рационализме пелагианцев. Но ведь это совсем не то, рационализм отнюдь не исключает религиозности. Можно верить в Бога, можно любить Бога и вместе с тем думать, что Бог открыл нам в разуме высшие истины. Даже больше того — естественнее всего человеку любить и чтить того Бога, который открылся ему в разуме — ибо сокровенное не привлекает, а пугает людей.

И я тут же могу спросить Гарнака и его единомышленников — пусть ответят, положив руку на сердце — чувствуют ли они готовность ввериться тайному и неизведанному. Мы уже помним, что Гарнак уверенно говорил: нельзя безнаказанно пренебрегать здравым смыслом. Мы знаем, что с Гарнаком вместе то же утверждал и Ренан. И даже католичество, открыто проповедующее возможность чудесного, не меньше боится иррационального, чем самые обыкновенные позитивисты. Оно предаёт анафеме тех, кто решился признать, что вера не мирится с разумом. Вера знает больше, чем разум, она сверхрациональна, но не антирациональна. Это догмат не только католичества, это догмат почти общечеловеческий. Может быть, даже ограничивающее «почти» — можно было бы выпустить. Т. е. я хочу сказать, что даже те редкие люди, которые отваживаются в самом деле отвергать *ratio* (разум) способны на такое дерзновение только в редкие минуты исключительного душевного подъема. И из своих запредельных экскурсий в область непостижимого они обыкновенно почти ничего не приносят с собой для обыкновенного существования. Они помнят, что были где то, где всё совсем по иному устроено, чем в нашей будничной жизни. Но они не могут ни другим, ни даже себе ясно и отчетливо рассказать, что видели и чувствовали они там в ином бытии. Правда, редко кто в этом признается. Редко кто

будет иметь мужество, потому что это «иное», постигаемое им на мгновения и в момент постижения оцениваемое, как высшее, единственное в своем роде — не обладает теми свойствами, которые давали бы возможность фиксировать его, постоянно держать в руках и импонировать им остальным людям; мало людей способны верить тому, что появляется и исчезает. Все привыкли думать, что ценность всего ценного прежде всего в его постоянной нужности и годности. И даже в обще-нужности, в обще-годности. Что не нужно всем и всегда, что не встречает общего признания и сочувствия, то уже этим самым признается «субъективным», т. е. второсортным. А, если это субъективное не имеет постоянной власти даже и над тем, кому оно открывалось — разве можно в нем видеть не то, что высшую ценность, а вообще хоть какую-нибудь ценность? Разве не вернее отнести его, по этому именно признаку случайности и непостоянства, к категории призрачного? И, стало быть, пренебречь им? Когда люди останавливаются пред такого рода дилеммой, они почти не колеблются. Они предпочитают лучше исказить, изуродовать до неузнаваемости свои откровения, чем отказаться от права вделать их в ту рамку, которая, по общим условиям человеческого восприятия является *conditio sine qua non* достоинства и не то, что ценности, а даже действительности душевных видений. Гарнак с католиками, с их критикой пелагионизма, как неудачной попытки внести в религию рационалистический элемент, могли бы вызвать упрек в недобросовестности — если бы можно было на них возложить ответственность за их критику. Но на самом деле — их личной вины тут нет. Их устами говорит бесконечная тысячелетняя традиция. Так было — так, верно, всегда будет. Разум останется господином над людьми — ибо, сколько бы люди против него не возмущались, они без него, как без воздуха, существовать не могут. Католицизм отверг пелагианство — но католичество живет идеями Пелагия. Гарнак восторгается бл. Августином и Лютером, но боится больше всего на свете оскорбить здравый смысл. Сохранились в сочинениях бл. Августина отрывок из *lettres de condoléance* Пелагия к вдове Ливании. Точно ли письмо принадлежит Пелагию или нет, неизвестно, но оно чрезвычайно характерно и еще поучительнее отношение к нему Гарнака. Пелагий пишет: «*Ille ad deum digne elevat manus, ille orationem bona conscientia effundit qui potest dicere, tu nosti, domine, quam sanctae et innocentes et mundae sunt ab omni molestia et iniquitate et rapina quas ad te extendo manus, quemadmodum justa et munda labia et ab omni mendacio libe-*

ra, quibus offero tibi deprecationem, ut mihi miserearis»¹⁶. (Harnack III). Т. е. только тот молится по настоящему, кто приготовил себе возможность, обращаясь к Богу, сказать, что он не делал несправедливого, ни дурного, не грабил, не лгал сознательно.

Приводя это место, Гарнак замечает: фарисей и мытарь в одном лице.

Я опять напомним Сократа и Платона с их учением об катарсисе или очищении. Ведь то, что говорит Пелагий — если приведенный отрывок принадлежит ему — мог бы сказать, да и сказал в Федоне Сократ или Платон. Только молитва чистого, праведного человека, готового лучше принять какую угодно несправедливость, чем самому сделать чтонибудь дурное, только такая молитва доходит до Бога. Больше того, ведь самый катарсис, самая готовность отказаться от зла ради добра есть единственный путь к Богу. Молитва есть только словесное продолжение добродетельной жизни. В этом ведь сущность сократовской и платоновской философии. И Гарнак смело клеймит ее самыми оскорбительными словами: в лице Сократа он видит и фарисея и мытаря. Можно ли так безнаказанно оскорблять здравый смысл! Гарнак сказал, что нельзя. И для себя он был прав. Мы увидим дальше, что один мало известный протестантский пастор, в своей книге направленной против «Das Wesen des Christentums» Гарнака, упрекает этого последнего в том же, в чём он сам упрекает Пелагия.

Warum Harnack diese grossen Erfahrungen nicht gemacht hat, die ihm das Auge gegeben hätten für alle objectiven "Wunder"? Vielleicht war er noch nie recht "krank." Vielleicht war er noch nie am "Abgrund der Hölle gestanden": vielleicht noch nie ganz "nichts". Только те люди могут постичь недоступную Гарнаку тайну Божественного искупления, die nämlich nicht bloss Harnacksünden, moralische Flecken der "Unwissenheit und Uebereilung" haben, sondern "blutrote" Sünden, Laster, Greuel, vor denen einem gebildeten und

¹⁶ Только тот достойно простирает руки к Богу и в добром сознании проливает молитву, кто может сказать: Ты ведаешь, Господи, сколь святы, невинны и чисты от всякой нечистоты, несправедливости и хищения руки, которые простираю к Тебе и как праведны и свободны от всякой неправды уста, которыми приношу Тебе молитвы, чтобы Ты помиловал меня.

ehrbaren Rabbi (m. e. Harnack) schauert (Ed. Rupprecht, *Das Christentum von D. Ad. Harnack*, 33, 59)¹⁷.

Он ставит ему в вину, — как это ни покажется странным, — что Гарнак не знает, т. е. не испытал, что такое грех.

Грех Гарнака, по словам того-же Рупрехта, только игрушечный, теоретический грех. Иными словами, по мнению Рупрехта, Гарнак оттого так «плоско» и «позитивно» понимает христианство, что подобно Пелагию был слишком добродетельным, точнее слишком мало порочным в своей жизни. А такие люди не могут быть религиозными и никогда не постигнут глубокой тайны искупления исповедуваемой христианством. Разбойнику на кресте легче было обратиться к истинной вере, чем добродетельному монаху Пелагию и честному профессору Гарнаку.

Читатель видит, в какие непроходимые дебри завел нас пелагианский спор. А ведь мы только чуть коснулись его. Мы до сих пор говорили только об учении самого Пелагия — и нас запутало только то, что такое ясное и благородное, коренящееся в лучших традициях эллинской философии учение могло найти осуждение как раз там, где оно могло надеяться найти горячий и восторженный даже прием. Отчего нельзя допустить, что человек может исполнить Божеские заповеди? И — исполнив их — быть безгрешным? Или разве несправедливо было утверждение пелагинцев, что грех Адама повредил ему одному только — а не всему человеческому роду? Или, наконец, разве не соответствует словам Христа, приводимым в Евангелии, что богач, даже и не христианин не войдет в царство небесное, если не отречется от всего. Ведь в этих словах почти буквально повторяется то, что Христос сказал богатому юноше? В чем тут дело, что возмутило так бл. Августина, что заставило его с такой неутомимостью до тех пор преследовать

¹⁷ Почему Гарнак не прошел через эти большие переживания, которые открыли бы ему глаза на все объективные «чудеса»? Может быть, он никогда не был тяжело «болен». Может быть, он никогда «не стоял в глубине бездны»; быть может, он никогда не был совершенным «ничтожеством»? Только те люди могут постичь недоступную Гарнаку тайну, Божественного Искупления, которые именно не только имеют грехи Гарнака (моральные пятна несознательности и торопливости), но «кроваво» красные грехи, пороки, ужасы, перед которыми приходит в ужас образованный и уважаемый равнин Гарнак.

пелагианцем, пока ему, наконец, не удалось добиться их осуждения церковью?

Много говорили о противоположности эллинизма и иудаизма, язычества и христианства. Но, может быть, ни в одном из догматов эта противоположность не сказалась с такой резкостью, как в догмате о спасении верой. Этим догматом, если бы католичество (или впоследствии протестантство) могло бы и хотело провести его в жизнь скольконибудь выдержано и последовательно была бы вырыта навсегда непроходимая пропасть между двумя периодами существования человечества. Гарнак высказывает мнение, что учение Афанасия Великого и постановления Никейского вселенского собора особенно резко оторвало христианское мышление от языческого (в понимании Гарнака, на этот раз от единственно истинного). «Никейский собор санкционировал учение св. Афанасия Великого. Одним из самых серьезных последствий этого было, что отныне догматика на вечные времена оторвалась от ясного мышления и от постижимых понятий и привыкла к противоречивому — несогласному с разумом. Несогласимость с разумом стала считаться — хотя и не сейчас, но довольно скоро после Никейского собора — характерным признаком святого. Т. к. везде искали тайн, то каждое учение уже потому казалось заключающим в себе тайну, что оно находилось в противоречии с обыкновенной ясностью. Заключающееся в единосущном непримиримое противоречие влекло за собой целый ряд новых противоречий, по мере того, как человеческая мысль подвигалась вперед». (Harnack II, 226). Несомненно — что св. Афанасий Великий и Никейский собор своим учением о единосущности трех лиц Божества, сыграли огромную роль в истории христианской догматики. Но я не могу согласиться с Гарнаком, который в этом видит чуть ли не первый случай открытого признания права за человеческим умом на противоречия. Прежде всего, мне кажется преувеличением говорить об официальной санкции. Противоречие с обычными законами человеческого мышления было допущено — но никто его не возводил в принцип. И, затем, совершенно неправильно утверждать, что противоречие только впервые выступило в учении Афанасия Великого на историческое поприще. Мы помним, что греческая философская мысль так же мало была свободна от противоречий. Не говоря уже о Гераклите, который и в самом деле пытался противоречие сделать чуть ли не законом человеческого мышления, вся классическая философия, как мы помним, менее всего способна была очистить свои системы

от явных противоречий. Аристотель уличал Платона в допущении очевидных нелепостей. И сам Аристотель был не менее повинен в том же грехе. Единственный упрек, который мог бы со своей точки зрения, сделать Гарнак Афанасию Великому и его преемникам, это разве в том, что они позволили себе допускать новые, собственные противоречия, еще не санкционированные традициями эллинизма. Но, конечно, отсюда далеко еще до права видеть в творчестве восточных отцов церкви признаки нарочитого парадоксализма. На окраинах человеческого мышления никогда не было и не может быть той успокаивающей ясности, которую мы совершенно законно привыкли считать критерием истин и без которой наше обыкновенное, будничное существование немислимо. Скажу еще больше. В своей аргументации, в тех доводах, которыми Афанасий Великий защищал свои положения от ариан, слишком еще чувствуется доверие к эллинскому методу отыскания истины. Афанасий Великий не решался выдвинуть свой догмат о единственности Христа с Отцом, не приводя в свое оправдание доступных разуму соображений. С логической чисто стороны — а сейчас именно она интересует нас здесь — у Аф. В. мы находим уже все те элементы, которые впоследствии использовал Ансельм Кентерберийский для своих рассуждений на тему *Cur Deus homo* (почему Бог человек). Т. е. Афанасий Великий стал на точку зрения прямо противоположную той, которую выдвинул Тертуллиан. Он не только не опрокидывает все привычные *quia* (потому что), он, наоборот, восстанавливает все их традиционные права. В коротких словах всё его рассуждение сводится к следующему. Если Христос, как утверждали ариане, был только *подобен* Богу, а не равен Ему по сущности, то, стало быть самое Его появление для людей не могло быть по своему значению решающим. Только в том случае, если Он был единосущным, т. е. говоря другими словами, только в том случае, если сам Бог мог принять на земле человеческий образ, люди вправе надеяться на то, что им дано «обожиться»¹⁸.

¹⁸ См. Творения и житие святого отца нашего Афанасия Великого т. III, стр. 257 (изд. Моск. Д. Ак.): «И Сын Божий для того сделался сыном человеческим, чтобы сыны человеческие, т. е. сыны Адамовы, соделались сынами Божиими. Ибо Слово неизглаголанно, неизъяснимо, непостижимо, вечно рожденное свыше от Отца, рождается долу во времени от Девы Богородицы Марии, чтобы рожденные первоначально долу родились вторично свыше т. е. от Бога».

Вот, в своей основе, рассуждение св. Афанасия. Совершенно ясно, что ему и в голову не приходило возводить в принцип *das Widervernünftige*. Ведь, наоборот — скорее тут уместно говорить о рационализме, о возведении в принцип той «ясности», о которой мечтает Гарнак. Противоречие же в метафизическом понимании Троичного и Единого Бога — вполне законно даже с точки зрения эллинской логики — ибо последний принцип, начало всех начал ни один философ не был в состоянии представить в свободном от противоречий виде. Да это, ведь, и не требуется. Иное дело, если бы Афанасий Великий рассуждал, как Тертуллиан. Но и сам Тертуллиан, несмотря на то, что ему однажды и пришлось высказать свой прогремевший на весь мир парадокс, никогда не имел мужества, ни даже охоты взять его с собой в жизнь в качестве постоянного руководителя. Монтанист, верующий в возможность пророчества и после явления Христа, он был и остался поклонником *auctoritas et ratio* (авторитет и разум).

Так что Гарнак и его единомышленники гораздо правее, когда они говорят об эллинизации католичества, т. е. о подчинении его эллинизмом, чем когда пытаются указать на попытки вырваться за пределы предначертанной древними логики и методологии. Все такого рода попытки — а их было немало — встречали всегда решительный отпор со стороны наиболее влиятельных представителей церкви. Католичество добивалось и совершенно сознательно единства учения и до сих пор с непримиримой враждой относится к тем, кто не признает за ним вечного права законодательства. Ведь не случайно же язычник Аристотель сделался и по настоящее время остался официальным философом католической церкви, как не случайно догмат непогрешимости папы был возведен — хотя и поздно, только на Ватиканском соборе 1871 года. Католичеству необходимо единство именно потому, что единство представляется условием разумности, условием логики.

В этом смысле католичество оказалось более выдержанным и последовательным, чем те, у которых оно переняло выдержанность и последовательность.

Как ни верил Аристотель в свои истины, как ни ценил Платон свою философию — им всё же никогда бы не пришло в голову возвестить принцип своей непогрешимости. Этот последний вывод из принципа единой истины дерзнуло только сделать католичество. Но не даром в католичестве видят *conplexio oppositorum* (соединение противоположностей). Исторические условия его развития и самые задачи, поставлен-

ные им себе часто требовали одновременного признания самых противоположных требований. И противоположное, когда нельзя было иначе — в конце концов уживалось, и даже мирно между собой. Но, повторяю, то, что было *de facto de jure* осуждалось и не признавалось. Посторонний критический глаз усматривал противоречия — но само католичество принципиально признавало лишь единство. И посмотрите даже на современных католических теологов. Они продолжают прославлять своим учителем Аристотеля, даже Сократа. И едва-ли вы где-нибудь еще найдете таких мастеров по примирению противоречий, как среди католиков. Ими доведено до необычайного совершенства искусство, перенятое ими от эллинских философов — высказывать взаимно исключаящие утверждения таким тоном, как будто бы они взаимно обуславливали друг друга. В этом легко можно убедиться, ознакомившись с любой из официальных католических догматик. И, внутренне, они правы. Ибо цель у них одна: установить тот авторитет, о котором говорит в Великом инквизиторе Достоевский. Иными словами — присвоить тому, кого они возвестили наместником Петра на земле всю полноту *potestas clavium*. Этого католическая церковь никогда не забывает и благодаря этому все частные, хранимые ею в недрах своих противоречия, как бы велики они ни были, для нее нисколько не опасны. Для нее не опасны даже утверждения, явно пренебрегающие здравым смыслом — те, которых так боятся Гарнак и Ренан. Ибо толкование учения всецело находится во власти папы — и ему дано определять, в какой мере положено влиять на жизнь, или оставаться в бездействии тому, или иному из элементов *depositum fidei* (сокровищницы веры). Католическая церковь, возникшая на развалинах римской Империи, сохранила и сберегла те приемы управления человеческими душами, которые обуславливают собою прочную и незыблимую власть.

Этим, может быть, и объясняется то странное на первый взгляд обстоятельство, что католичество не боялось брать под свое покровительство как раз такого рода учения, которые, повидимому, наименее всего соответствовали поставляемым им себе задачам. Монтанизм, допускавший пророчества, был для него неприемлем. Но учение о единосущности трех лиц божества нисколько не грозило прочности возведенного здания. И даже в споре Пелагия с бл. Августином, католичество без колебания стало на сторону последнего — хотя, как мы увидим сейчас, пелагианство было и навсегда осталось душой католичества. В одном, может быть, католичество оказалось не-

достаточно пронизательным. Оно не предвидело, что через 1000 лет после осуждения Пелагия, тот самый бл. Августин, которого оно поддержало, воспитает в лице Лютера самого страшного и беспощадного противника папства.

Сейчас мы наблюдаем парадоксальнейшее явление. Как католики, так и протестанты считают бл. Августина своим. И, ведь, с одинаковым правом. С одинаковым правом Лютер ссылался в своем учении о невидимой церкви и о благодати на тот-же источник, которым питались и питаются до сих пор самые правоверные католические теологи. Лютеру вовсе не было надобности фальсифицировать Августина, как и католикам, не приходится от него отказываться. Ибо Августин сам был верующим католиком, т. е. принимал то первое и основное условие, без которого католицизм невозможен — он отождествил христианство и католическую церковь.

Он утверждал, что не верил бы в св. Писание, если бы оно им не было получено от церкви¹⁹. Раз это утверждение сделано, т. е. раз принято, выражаясь словами Достоевского из легенды о Великом инквизиторе, что Христос передал всю свою власть церкви и уже не может ничего ни убавить, ни прибавить к тому, что сейчас уже находится в ее обладании — церковь может быть спокойна. Признан ее авторитет и она уже может управлять человечеством посредством тех приемов, о которых у Достоевского рассказывает старик инквизитор.

Авторитет стоит над св. Писанием, стало быть никакое чудо, никакая тайна не могут уже более нарушить установленного этим авторитетом порядка. Даже наоборот: уверенный в себе авторитет любит отливать фантастическими цветами не принадлежащих ему красок, ибо сам по себе в своей бесцветной серости он, может быть, не оказался бы достаточно привлекательным для людей и многих отпугивал бы. И в этом смысле бл. Августин имел неоцененное значение для церкви. Он умел, как никто до него, подводить людей к живой тайне мироздания. И это ему разрешалось. Может быть, сейчас для нас тон писаний Августина уже не представляется таким обаятельным. Часто, читая его, хотелось бы большей строгости, большей сдержанности, даже большей краткости. В нем слишком

¹⁹ Он говорит: *Ergo vero Evangelio non crederem, nisi me catholicae (eclesiae) commoveret auctoritas* (Harnack III, 79). (Конечно, я не веровал бы в Евангелие, если бы меня не подвинул к тому авторитет католической церкви).

много искусства, — слышится бывший ритор. И это особенно заметно ввиду склонности Августина цитировать псалмы. Нельзя, конечно, требовать от него больше, чем у него есть — и дар царя Давида остался и поныне непревзойденным и единственным. Но хотелось бы, — невольно — чтобы Давид, а не Цицерон и Сенека служили образцом для того, кому приходится говорить о величайших тайнах жизни. Больше всего Августин нас захватывает потому, что он принадлежал еще к той эпохе, о которой Тертуллиан мог говорить *fiant non nascuntur Christiani* (христианами становятся, а не рождаются). Он родился язычником и его обращение в христианство уже в зрелом возрасте, конечно, является выходящим из ряда событием — если хотите истинным чудом, как чудом является и обращение Савла. Я хочу сказать, что в связи обычных, будничных событий человеческой жизни такие явления, как невозможность оставаться в той сфере, в которой ты родился и воспитался, до такой степени непонятны, и загадочны, что они несомненно нарушают естественную связь причины и действия. Естественно, чтоб человек цепко держался за те устои, которые ему даны от рождения. Естественно, чтоб атмосфера, в которую мы попадаем с рождения представляла для нас наиболее благоприятные условия развития и существования. Как странно нам было бы услышать о рыбе, которая рвется на сушу, или человеке, живущем на дне океана. Обращение Августина (и еще больше, конечно, Савла) носит именно такой характер. Ему стало, как он рассказывает в своей «Исповеди» невмоготу жить в своей природной стихии. «*Jam rebus talibus satiatæ erant aures meæ*»²⁰. (Augustin, St. Confessions. V, 6. Ed. Garnier, Paris).

Всё, что казалось добрым, хорошим, возвышенным, успокаивающим — вдруг стало злым, жестким, вызывающим, оскорбляющим. Без всякой видимой причины в душе вдруг зародилось мучительное, прямо безумное беспокойство. Не то, чтобы бл. Августин знал какое то лучшее, куда нужно было идти и ясно видел дурное, от которого нужно было бежать. Наоборот, как известно из его «Исповеди», он пытался отыскивать пути повсюду, где возможно было искать. Он ходил по древним святым местам — т. е. изучал творения знаменитых философов. Он был у манихейцев. Он, как потерянный, бросался без всякого плана, без всякого расчета из стороны в

²⁰ Этими делами уже были пресыщены мои уши.

сторону, ни мало не предвидя, куда приведут его все эти отчаянные шатания. Даже в последний момент перед обращением своим, он так же мало знал, что его странствования близки к концу, как и за несколько лет до того. Вот в каких словах впоследствии он описывает свое последнее напряжение:

*Illuc me abstulerat tumultus pectoris, ubi nemo impediret ardentem litem quam mecum aggressus eram donec exiret, qua tu (т. е. Бор) sciebas, ego autem non: sed tantum insaniebam salubriter (т. е. безумствовать спасительно) et moriebar vitaliter, gnarus, quid mali essem et ignarus, quid boni post paululum futurus essem*²¹ (*Conf. VIII, 8*).

Этот момент был, повидимому, единственным и самым решительным и значительным в жизни Августина. По крайней мере, в «Исповеди», да и в других его произведениях, ничего не говорится о вторичных его обращениях. И, может быть, вообще говоря, редкому человеку по силам дважды испытать тот душевный перелом, о котором здесь идет речь. Самое трудное и ужасное в той внутренней борьбе, о которой повествует Августин именно то, что исход ее для него невозможно было предугадать. Впоследствии Августин мог сказать: ты, Господи, знал, к чему приведут меня мои муки, но я не знал ничего. Но, так мог он сказать лишь впоследствии, когда, оглядываясь на прошлое и новое настоящее, он имел возможность подвести итоги своим мучительным переживаниям. Пока же всё не кончилось, Августин даже и догадываться не мог о том, что пытки, которым он сам, или судьба подвергли его имели хоть какойнибудь смысл. Он знал, что в настоящем — ужас, но он не подозревал, что в ближайшем будущем его ждет такая великая награда — *Gnarus, quid mali essem et ignarus quid boni post paululum futurus essem*».

Может быть, для переживаний Августина это наиболее характерная черта. Человек начинает добровольно подвергать себя пыткам — не зная, для чего он это делает. Он утрачивает

²¹ В этот сад я и удалился в своем душевном смятении как в такое место, где никто не мог помешать мне, пока не пройдет моя борьба, исход которой, конечно, виден был Тебе, Боже мой, но я его не видел. Исступление мое было для меня спасительно, и смертельная тоска действовала на меня животворно. Я сознавал свое несчастное положение, но не видел, что оно служит для меня переходом к лучшему. (Блаженный Августин. Исповедь, стр. 203.)

обычное чутье, подсказывающее ему, что нужно бежать «зла» и всеми силами оберегать себя от него. Разум, до сих пор направлявший его по ясным и определенным путям, теряет свою власть над ним. Попрежнему он продолжает верить только доводам рассудка, он попрежнему боится зла и хочет того, что привык считать и не может не считать добром — но он хочет одного и невольно делает другое.

Я выше упомянул, что Августин только однажды в жизни испытал такой душевный перелом и высказал предположение, что редкому человеку дано дважды в жизни испытать то, что испытал Августин. Но, если бы это и было дано — я думаю, что второй, третий и даже десятый перелом был бы по своей мучительности не менее тягостным, чем первый. И, что во второй раз человек принужден был бы испытать ту же неизвестность и повторить то-же, что выражает Августин в заключительных словах приведенного отрывка из «Исповеди» — *gnarus quid mali essem et ignarus quid boni post paululum futurus essem*.

Такой опыт, даже если он и повторяется, не научает человека прозревать в неизвестное будущее. Или, лучше сказать, такой опыт не поддается обобщению — и это может быть его наиболее поразительная черта, отличающая его от всех других видов опыта.

Ведь несомненно еще вот что: если бы кто-либо мог освободить Августина от этих ужасов, которые ему пришлось испытать в саду — каким угодно способом, хотя бы чисто внешним, Августин бы счел его своим благодетелем — в тот момент, когда он знал только *quid mali esset*. Но, если бы потом *post paululum* кто либо предложил ему вычеркнуть из своей жизни страницы, связанные с его садом, он бы низачто в жизни не согласился на это. Эти муки, раз они перешли в прошлое, стали дороже всех радостей, когда-либо испытанных. Но, подчеркиваю, этот же Августин так же низачто на свете не согласился бы, чтоб эти муки, которые в прошлом ему кажутся такими ценными, повторились.

Сделаю только одну оговорку — очень важную. *Gnarus quid mali essem, ignarus quid boni post paululum futurus essem* — сказал сам Августин. Т. е. это значит, что смысл и значение испытанного он вполне осознал. Относительно же возможности и нужности новых, дальнейших испытаний он судил иначе. Он хотел думать, он думал — что открывшееся ему новое *bonum* есть уже последнее, лучшее *summum bonum* (высшее благо). Во всяком случае, он не допускал мысли, что жизнь

когда-либо потребует от него новой проверки своей правоты, новых отречений, и что новые отречения будут сопряжены с теми же трудностями, которые он испытал когда нужно было отказаться от языческих идеалов.

Может быть, именно ввиду того, что внутренняя борьба Августина потребовала от него крайнего, исчерпывающего напряжения всех душевных сил и что он чувствовал себя решительно неспособным после совершенного им подвига предпринять еще что-либо новое, у него выросло убеждение, что он пришел уже к крайним пределам доступного человеку постижения. Исповедь начинается и кончается похвальным словом Богу, как вечно успокаивающему началу. «*Tu excitas ut laudare te delectet, quia fecisti nos ad te et inquietum est cor nostrum donec requiescat in te*»²² (Conf. I, 1) — так говорится в первой главе. Последняя глава, объясняющая, почему седьмой день творения не имел вечера, когда Творец отдыхал после трудов, есть краткий, торжественный гимн вечному отдохновению. *Rax quietis, rax sabbati, rax sine vespere*²³ (Conf. XIII, 35) вот предмет воздыханий тех, кто не родился, а сделался христианином. «*Dies autem septimus sine vespera est nec habet occasum, quia sanctificasti eum ad permansionem sempiternam ut id. quod tu post opera tua bona valde, quam vis ea quietus feceris, requievisti septimo die, hoc preloquatur nobis vox libri tui; quod et nos post opera nostra ideo bona valde, quia tu nobis ea donasti, sabbato vitae aeternae requiescamus in te*»²⁴ (Conf. XIII, 36).

²² Ты сам возбуждаешь его к этому. По своей природе человек ощущает высшее блаженство в прославлении Тебя. (Блаженный Августин. Исповедь, стр. 1-ая.)

²³ Даруй нам мир покоя, мир субботы, субботы вечной, у которой нет уже вечера. (Блаженный Августин. Исповедь, стр. 439.)

²⁴ День седьмой не имеет вечера, он бесконечен, Ты освятил его и благословил на вечное субботство (Быт. 2. 3; Евр. 4. 1-10). И слово Твое возвещает нам, что как Ты почил в день седьмой от всех дел Своих, так прекрасно и так дивно сотворенных Тобой, хотя Ты творил их без всякого нарушения покоя Своего; так и мы, по сотворении дел наших, которые потому и хорошие у нас, что они суть дар Твоей благодати, внидем в покой Твой и успокоимся в Тебе субботствованием вечной жизни. (Блаженный Августин. Исповедь, стр. 440.)

Нечего говорить, что идеал вечного, последнего и неизменного покоя Августина открылся еще задолго до его обращения в христианство. Языческие философы, с которыми он был знаком еще с юных лет, всегда ставили себе тот же идеал. В чисто философском смысле христианство не дало ничего нового воспитанному на эллинской мудрости профессору риторики. Наоборот, бл. Августин остался верным учеником Плотина до старости. Через него основные мотивы неоплатонизма проникли в западноевропейскую теологию, как через Дионисия Ареопагита — в теологию восточной церкви. Но чистый неоплатонизм в том выражении, какое ему дал Плотин — менее всего мог удовлетворить не только самого Августина, с его внутренней разорванностью и надломленностью, — всё греко-римское образованное общество несло это учение, как тяжелый и мучительный крест. И, наоборот, ведь Плотин воплотил и в своей жизни и в своей философии тот *décadence*, к которому так неизбежно шла навстречу разваливающаяся римская империя. Мы уже помним, что элементы разложения были присущи философии Платона. Тот, кто определяет самую философию, как упражнение в смерти и умирание, менее всего может дать людям твердое и спокойное мирозерцание. Но, вместе с тем мы помним, что история преодолела Платона, что даже сам Платон преодолел в значительной степени себя. Аристотель же сразу уверенно выкорчевал из учения Платона все тревожные и неустойчивые элементы. В учении же Плотина они вновь воскресли и с удвоенной, может быть с удесятеренной силой. Хотя Плотин и боялся хоть в чем либо отступить от своего божественного учителя и официально выступал только, как последователь и продолжатель Платона, но на самом деле внутренняя близость его с учителем исчерпывалась неутолимой, вечно грызущей тоской по непостигаемому, невидимому. Если для Платона идеи были единственной реальностью в теории, то для Плотина на самом деле существовало только то, чего в обыкновенном человеческом представлении совсем не было.

Плотин не размышляет об идеальном государстве, не стремится к созиданию всеобъемлющей науки. Его задача — приобщиться новому бытию. В его последних предсмертных словах, как их передает Порфирий — он испустил дух, говоря, что теперь он переносит то божественное, что было в нем, в то божественное, что находится во всем — подводятся итоги всего его жизненного дела, всей его «философии».

Правда, историки философии, считающие своей обязан-

ностью брать у философов только то, что впоследствии получило свое научное оправдание, т. е. могло быть принято, как «положительное» сообразно существующим критериям истинного — с этой стороны учения Плотина менее всего считается, хотя не могут в ней не признать исключительного своеобразия. Целлер говорит:

“Es steht mit der ganzen Richtung des klassischen Denkens in Widerspruch und es ist eine entschiedene Annäherung an die orientalische Geisterweise, wenn Plotin nach dem Vorgange eines Philo das letzte Ziel der Philosophie nur in einer solchen Anschauung des Göttlichen zu finden weiss, bei welcher alle Bestimmtheit des Denkens und alle Klarheit des Selbstbewusstseins in mystischer Ekstase verschwindet” (Zeller V, 611)²⁵.

Целлер, конечно, прав и в своей характеристике Плотина, как он прав и в том, что европейское мышление даже тогда, когда оно достигает своего высшего подъема, со страхом останавливается перед необходимостью отказаться от определенности и ясности. Этот критерий, унаследованный от Аристотеля, или, вернее, всегда свойственный природе европейского человека и лишь получивший у Аристотеля свою исчерпывающую формулировку, всегда был и всегда, вероятно, будет считаться научным *par excellence*. Там, где нет отчетливости и определенности, не может быть, очевидно, и истины — ибо неопределенная, т. е. не всегда равная самой себе истина не есть истина и не может быть предметом изучения и познания.

Сам Плотин это превосходно знал и рассказывал о том, какой испытывает страх и колебания душа, когда ей приходится приблизиться к единому, бесформенному:

«Тем более, что душа, когда она доходит до «вещи» без формы, не может охватить эту «вещь», ибо она неопределенна: в ней ничто не очерчено и, можно сказать, нет никакого отпечатка. Тогда душа колеблется и опасается, что ничем более не обладает».

И знал он тоже, что непрерывно выносить такое состояние

²⁵ Это находится в противоречии со всем направлением классического мышления и есть решительное приближение к восточному образу мысли, когда Плотин, следуя Филону, находит последнюю цель философии только в таком воззрении на божественное, при котором всякая определенность мысли и всякая ясность самознания исчезает в мистическом экстазе.

в течение сколько нибудь продолжительного времени, человеку не дано. За состояние мгновенного экстаза, за секунды причастности к божественному человеку приходится тяжело расплачиваться бессилием, изнеможением, болезнями. И самое главное, в чем, впрочем, повидимому и Плотин не признавался, равно как и Филон, через которого восточная мудрость нашла себе доступ к Плотину — самое главное, что та истина, которая постигается через причастие к божественному, никоим образом по самому существу своему не может поддаться логической обработке, т. е. принять форму общеобязательных, исключаящих себе противоположных, суждений. Тот, кто общается к Богу, теряет самое основное, «священное» право, принадлежащее человеку, как политическому существу, выражаясь языком Аристотеля и, если вам нравится больше язык современный, как социальному существу. Т. е. его суждения лишаются *всякого рода санкций* и теряют поэтому столь соблазнительную и всеми ценимую прерогативу называться истинами. Каждый уже может с равным правом противопоставить им противоположные — и нет в мире никакого авторитета, именем которого можно было бы смирить спорщика.

Когда Плотин учит о едином и о последнем и, говоря так, предполагает, что за тем, чему он сподобился причаститься, нет и не может быть ничего — он уже совершенно неправомочно применяет категории свойственные эмпирии к тому, что, по его же учению, ничего общего с эмпирией не имеет. Он допускает антиципацию опыта, вполне законную и оправдывающую себя в видимом мире, но явно самозванную и без всякой нужды ограничивающую беспредельность. В этом сказывается тот же страх пред бесконечным и бесформенным, под влиянием которого Аристотель и его преемники выработали и провели в жизнь теорию середины.

Так когда-то променял Платон свой творческий эрос на незыблимую систему идей-чисел, так и Плотин в последнем счете, под угрозой быть изгнанным из идеального государства разумных, обладающих всеми признанными правами говорить от имени истины, отрекся от своих экстазов. Ибо никто не может поручиться, что эти получеловеческие, полубожественные состояния духа, если их не подчинить контролю разума, всегда будут порождать постоянное и себе равное. И, несомненно, что если бы Платон и Плотин не уверовали бы в принадлежащие им права — история философии не могла бы канонизировать их, сопричислить их имена к именам праведников науки. Со своей точки зрения, Целлер, конечно, прав.

Историческое значение Платона и Плотина не в том, что они сподобились испытать и видеть, а в том, как проэцировался на плоскости общественного бытия их особый, исключительный, может не повторяющийся опыт. И блаженный Августин, несомненно, до конца дней своих, находящийся под влиянием Плотина, получил от него восточное откровение уже эллинизированное, тем более, что и сам Филон, бывший посредником между Азией и Европой, положил все свои силы на то, чтобы согласить иудаизм с эллинизмом. Филон, чтобы проложить исторический путь пророчествам иудаизма, должен был *оправдать* перед образованными греками восточное постижение истины. Ему, потому, больше всего нужно было показать, что библейская «мудрость» не находится в противоречии с истиной научной, как она была представлена в творениях греческих мудрецов. Ему хотелось, чтоб грек, знающий Платона и Аристотеля, «понял» псалмопевцев и пророков. Конечно, это уже было со стороны Филона недопустимым компромиссом. И, вместе с тем, задача его была фактически неисполнима. Эллинизм не может оправдать ни Моисея, ни царя Давида, ни Исайю или Иезекеиля. И прежде всего потому, что пророки и певцы священных книг никогда не искали и не добивались оправдания. Они возвещали истину, как власть имеющие. Они никому отчета не давали — они спрашивали со всех отчета. Они не оправдывались — они сами судили. И, если эти их притязания отвергнуть — то им только остается умолкнуть. Доказательств у них никогда никаких не было — и по существу не могло быть, ибо, вопреки аристотелевской теории середины, единственно создающей возможность самой идеи о доказательствах и критериях, пророки никогда не знали, что такое середина. И, если говорить уже о родстве эллинизма с иудаизмом, то как раз нужно сосредоточиться на тех элементах старо и неоплатонизма, которые оказались совершенно неприемлемыми для научного сознания и являются до настоящего времени пережитками, ненужным балластом, обременяющим и без того огромные истории философии. Ничем не ограниченный экстаз; безумный, не знающий пределов эрос — был источником творчества иудейских пророков. Этого эллинизм в чистом виде никогда принять не мог. Неизбежно возникал вопрос, как проверить пророка, где порука в том, что выдающий себя за пророка есть действительно глашатай истины, и посланец Бога, а не дьявола.

Плотин отыскал *modus vivendi* — для себя. Но его ответ, очевидно, не мог удовлетворить Августина. Он вер-

но чувствовал, что именно того, что ему нужно было больше всего, т. е. уверенности, которая положила бы конец измучившим его колебаниям, — философия и особенно Плотина дать не может²⁶. Философия Плотина, вобравшая в себя все разрушительные элементы, накапливавшиеся веками, подрывала в конце всякую возможность уверенности. Она обнажила немощность и она же предоставляла жалкого и слабого человека себе самому и своим ничтожным силенкам. Пока еще здоровый инстинкт жизни сохранял в эллинизме дух Аристотеля и удерживал людей на известном расстоянии от мучительных тайн и загадок, философия могла быть руководительницей жизни. Но Плотин, доведший презрение к видимому эмпирическому миру до крайних пределов, неизвестных до того даже стоикам и циникам, повалил все преграды, задерживавшие до того необузданную стремительность человеческого духа. Горе тому, кто хочет знать, что было и что будет, что находится под землей и что выше неба: такому лучше было не родиться на свет, говорит народная мудрость. Плотин, сам отравленный ядом *décadence*'а разлагающего эллинизма заразил своими духовными немощами и бл. Августина. Новые, открывшиеся ему постижения, не укладывались в плоскость существующих научных систем. Нужно было либо отказаться от этих экстатических видений, либо от философских критериев истины.

Как известно, и сам Плотин и его ближайшие последователи искали и нашли себе прибежище в языческом вероучении. Но Августина язычество уже не удовлетворяло — он давно изжил его. Изжил не только его слабые, но и сильные стороны. Его полемика с язычеством, которой посвящена большая часть огромного трактата *de civitate Dei*, написанного правда через много лет после обращения, но носящего на себе еще следы непосредственной борьбы с тем, чему он когда то верил, поражает своей ненужной грубостью и несправедливостью. Бл. Августин вовсе не хочет быть справедливым к язычеству, ибо его задача не в том, чтоб оценить язычество, а чтоб уничтожить, растоптать его. Повинно оно, или неповинно в тех прегрешениях, которые Августин ему приписывает — уже безразлично. Ибо, если бы оно и не было повинно, оно всё равно осуждено

²⁶ Прошло для Августина то время, когда он говорил себе: *Mihi persuasi docentibus potius quam jubentibus esse credendum* (P. R. E. II, 262) (я убедился, что нужно доверяться учащим, а не повелевающим).

уже и не может рассчитывать на пощаду. Его вина в том, что оно, как соль, потерявшая свою соленость, может внушать только одно отвращение. Если бы Августину нужно было бы быть справедливым, он говорил бы о язычестве другое и другим тоном. Теперь же его полемика удивительно напоминает и по резкости приемов и по страстности и безудержной стремительности нападения «критику догматического богословия» Толстого. Августин не может простить языческим богам того, что они не в силах дать того, что они обещали и беспощадно издеваются над ними — добивает и без того уже почти неживых обитателей Олимпа. Отчего они не дают прочности, отчего они не указывают единого верного пути? Его в особенности поражало сравнение дряблой, выдохшейся веры язычников с молодым вдохновением христиан.

“Surgunt indocti et caelum rapiunt; et nos cum doctrinis nostris sine corde, surgunt ecce ubi votamur in carne et sanguine. An quia praecesserunt, pudet sequi, et non pudet non saltem sequi.” Diximi nescio quae talia et abripuit me ab illo aestus meus, cum taceret attonitus me intuens. Neque enim solita sonabam; plusque loquebantur animum meum frons, genae, oculi, color, modus vocis, quam verba quae promebam²⁷ (Conf. VIII, 8).

У этих, у невежественных людей, не знавших ни Платона, ни Плотина было то, что Августину было нужнее всего на свете. И только у них это было. «Невежество», которое Августин так привык презирать, имело одно колоссальное преимущество. Оно не связывало человека. Не знающий Аристотеля может искать везде: свободный дух дышет, где хочет. Ученый же человек, как большинство ученых современников Августи-

²⁷ «Восстают невежды и предвосхищают небо. А мы с тобою со всеми холодными и безжизненными знаниями своими погрязаем в плоти и крови! Неужели нам стыдно последовать их примеру только из-за того, что они исправились раньше нас? Но не стыднее ли для нас вовсе не следовать по следам их?»

Я сказал ему еще несколько подобных слов, — каких сам не помню. Волнуемый борьбою мыслей и чувств, я оставил его. Пораженный удивлением, он только смотрел на меня и молчал. И действительно, я был тогда в необыкновенном волнении, и речь моя не походила на обыкновенную. Волнение духа моего выражали более члены моего тела — лоб, щеки, глаза, также цвет лица, изменение голоса, нежели самые слова, произносимые тогда мной. (Блаженный Августин. Исповедь. Стр. 202.)

на, не в праве идти в те места, где, по традициям науки, истина никогда не бывает. И Августин, отбросив ложное самолюбие, пошел за теми, кто, по его прежним представлениям, должен был бы посещать его собственные классы риторики. Но, было бы ошибочно думать, что Августин, после своего обращения, всецело отказался от своих старых духовных сокровищ. Неоплатоник пошел к христианам только за тем, чего ему не хватало. У Церкви он искал авторитета, поддержки тем необычным душевным переживаниям, которые ему открылись еще в школе Плотина. Когда он пишет: «*Tu autem, Domine, bonus et misericors et dextera tua respiciens profunditatem mortis meae et a fundo cordis mei exhauriens abyssum corruptionis. Et hoc erat totum nolle quod volebam et velle quod volebas*»²⁸ (Conf. IX, 1). Когда он пишет, что спасение его состояло в том, чтоб отказаться от всех своих личных желаний и желать только того, чего желает Бог — новым, сравнительно с тем, что испытывал Августин, когда был только неоплатоником является лишь готовность подчиниться повелевающему, а не поучающему. Т. е. готовность, вслед за теми невежественными людьми, слухи о жизни которых так волновали его, отдать себя всецело во власть церкви. Это было труднее всего и нужнее всего бл. Августину. Он чувствовал, что больше не в силах выносить бремя свободы своей, бремя внутреннего безначалия, все же прежние авторитеты, как я говорил раньше, утратили для него свое былое обаяние. Он не боялся строгости и требовательности новой власти. Рассказы о монашестве и жизни св. Антония приводили его в восторг. Трудности подвижнической жизни — и только такие огромные трудности могли смирить жившую в его душе непрерывную анархию. Но идти на трудности — только ради трудностей, или для того, чтобы положить конец внутренней борьбе, — для этого ни у Августина, ни у кого другого не хватило бы почина. При том, Августин был и остался слишком философом, слишком искателем истины и последней истины, — как и в те времена, когда он изучал Цицеро-

²⁸ Ты же, Господи, благ и милосерд. Ты видел всю глубину моего падения и своею могущественною десницею вывел меня из бездны, в которую я низринулся как в могилу. Я не хотел чего Ты хотел и хотел, чего Ты не хотел. Теперь же я перестал желать того, чего прежде желал, и стал желать угодного Тебе. Где же была до сего времени и откуда — из какой непостижимой глубины явилась моя свободная воля, посредством которой я преклонил волю свою под Твое благое иго и рамена свои под Твое легкое бремя. (Матф. 11, 30). (Блаженный Августин. Исповедь, стр. 216).

новского Гортензия, — чтоб остановиться на таком будничном и прозаическом решении. Новая цель — должна быть высшей и последней, новая истина должна блеском, красотой и глубиной превзойти все предыдущие. И — самое главное — власть возвестивших единого Бога пророков и апостолов разрешает все сомнения — т. е. выполняет те требования, которые ставила, но сама не могла выполнить эллинская философия. Под руководством и защитой церкви, обладающей откровением св. Духа уже не страшно идти в те области, куда звал Плотин. Не страшны необычные подъемы, экстазы, — не страшно соприкосновение с последним великим бесформенным. Таким образом для бл. Августина христианство разрешило мучительные вопросы, выдвинутые, но не разрешенные всем предыдущим развитием эллинизма. Язычество, в поисках за критерием истины, подорвало в принципе всякую возможность сколько нибудь прочного философского знания. Получился союз свежего, доверяющего себе незнания с утонченностью слишком требовательной и интеллектуально развитой души. В этом и только в этом нужно и можно видеть эллинизацию христианства. Греческий дух, требовавший ясности и отчетливости и вне этого условия не допускавший возможности существования, подчинился извне занесенной норме истины, чтоб только избавиться от непосильного бремени свободы.

В этом и причина того, что католицизм остался навсегда *complexius oppositorum*. Несомненно, что последний догмат о непогрешимости папы символизирует собою всё развитие католицизма. Католичеству нужен был какой угодно авторитет — только бы не возвращаться к былой свободе. И современные даже католики, объясняя постановления ватиканского собора, нисколько не стесняются видеть в непогрешимости папы нарочитое чудо Божие, являющее людям на земле заботы и попечения Промысла об их земном устроении. Но, несомненно и другое. Уверенность в божественной силе церкви и в авторитете откровения давала, если не всем, то по крайней мере некоторым верующим католикам смелость проникать в такие отдаленные области, куда на свой страх человек никогда бы не зашел.

И сам бл. Августин, вероятно, не дерзнул бы выступить против Пелагия, т. е. против всей эллинской мудрости, со своим учением о благодати — до того оно казалось и сейчас кажется противным разуму и возмущающим здравое нравственное чутье — если бы он не чувствовал возможности в своих исключительных переживаниях опереться на божественный авторитет апостола и пророков.

I

Падение Константинополя в 1453 г. было пережито на Западе как «несчастье всей христианской веры» (слова имп. Фридриха III в письме к папе Николаю V). Несмотря на века религиозного разделения, так часто оборачивавшегося кровавой борьбой, христианский мир сознавал еще свое единство. Потом о Византии забыли. А когда вспомнили — сравнительно совсем недавно — то вспомнили уже не как свое прошлое, не как забытый отрезок своей истории, своей традиции, а как таинственный, красочный и малопонятный «Восток». Византию стали «открывать», как открывали, в тот век ненасытного исторического любопытства, Индию, Китай и до-колумбовскую Америку. С легкой руки Шарля Дюля во Франции, с руки более тяжелой — Крумбахера и прочих в Германии, византология заняла наконец прочное место в науке наряду с другими разновидностями «ориентализма», обзавелась толстыми журналами, университетскими кафедрами, учеными конгрессами. Создалась мода на Византию, но она отдает модой на экзотику. И не случайно, например, то, что в синтезе Тойнби «православная христианская цивилизация» Византии оказалась начисто отрезанной от христианской цивилизации Запада, представлена как совершенно отдельный мир, со своим особенным ритмом развития и умирания, в котором почти естественным завершением признается — турецкая империя, *Rax Ottomanica!*

Это противопоставление Византии Европе, как Востока Западу, изнутри отравляет новый интерес к византийскому прошлому в западной науке, лишает его целостной исторической перспективы. Становясь всё более интересным объектом исторического изучения и эстетического любования, Византия остается чужой, всё с тем же клеймом «Востока», про которое хорошо писал В. В. Вейдле: «стоит произнести слово «Восток», чтобы всё европейское, но не относящееся к западной Европе, немедленно превратилось в нечто отнюдь не европейское уже,

а иное, враждебное, восточное»... Византию изучают извне, ее нет в духовной памяти Запада.

Увы, почти тоже самое можно сказать и про русских. Правда в России никогда не забывали о своей связи с византийским культурным и духовным наследием. Эту связь, это наследие по разному оценивали, от них отрекались, но их не отрицали. В самый разгар западнических увлечений Грановский писал: «нужно ли говорить о важности византийской истории для нас, русских? Мы приняли от Царьграда начатки образования. Восточная Империя ввела молодую Русь в среду христианских народов. Но, кроме этих отношений нас связывает с судьбой Византии уже то, что мы славяне. Последнее обстоятельство не было, да и не могло быть по достоинству оценено иностранными учеными. На нас лежит некоторого рода обязанность оценить явление (т. е. византизм), которому мы так многим обязаны». И надо признать, в том, что касается исторической науки, русские эту обязанность выполнили с честью. С самого зарождения византологии наши ученые занимали в ней первые места и именами Успенского, Васильева, Кондакова и стольких еще отмечены все главные этапы ее развития. Но и у них «категории» самого восприятия Византии, весь дух этого кропотливого восстановления — год за годом, век за веком сложной исторической ткани византизма те же, что и на Западе. Словно ничего кроме «начатков образования» да еще славянского происхождения не связывает нас с этим миром, не делает его для нас кровно своим... Не будем, конечно, отрицать огромной ценности проделанной научной работы. Мы знаем Византию неизмеримо лучше, чем знали ее наши предки сто лет тому назад и будем знать еще лучше; библиография работ, посвященных Византии, в одни только годы войны — с 1939 по 1948 — насчитывает 2799 названий! Академически печальная пятисотлетняя годовщина падения Константинополя отмечена *lege artis*.

Но разве это всё? Неужели только в таких научно-исторических поминках Византии состоит та обязанность, о которой, сам же суживая ее, писал Грановский? Или же есть другое измерение Византии, напомнить о котором именно в наши дни, в нашей «апокалиптической» ситуации — уже не долг исторической вежливости, не академическая задача, а веление совести. Вот в таком — хотя бы только напоминании — цель настоящей статьи.

Речь идет о духовном, о религиозном значении Византии и византинизма в нашей собственной судьбе. Нерасторжимой, единственной в своем роде связи Византии с восточным православием отрицать не будет никто. Ведь православие до сих пор не только сохраняет свою внешнюю византийскую «форму», но и изнутри, духовно, глубочайшим образом определено именно византийской рецепцией христианства. Все это знают, (добрая половина тех трудов, что я упоминал выше, так или иначе относится к этой теме) но вот, формальным знанием и признанием всё и ограничивается. Я думаю, что подлинное, т. е. жизненное значение византийского христианского опыта, его непреходящий смысл до сего дня остаются непонятыми и это несмотря на всё более обостряющийся интерес к византийской иконе, к византийскому зодчеству, к византийской мистике и т. д.

Непонимание это не удивительно у классической русской интеллигенции. Здесь не место говорить о трагедии ее взаимоотношений с православной Церковью. Но так вышло, что даже при наличии религиозных интересов, Западный опыт, Западный путь — от блаженного Августина к св. Франциску, Якову Бему и Паскалю оказывался ей ближе и понятнее, чем восточное православие. Православие русская интеллигенция — «идейная и беспочвенная» по определению Г. П. Федотова — знала либо в его синодальном, казенном аспекте и от него отталкивалась, либо же через Лескова и всевозможных «бытописателей» уютного православного мещанства, где оно неизменно соединяется с образом ревущего дьякона, семинарским анекдотом и нехитрой поэзией всевозможных «заговений» и «розговен»... Православия Афанасия Александрийского и великих Каппадокийцев, Халкидонского догмата и Исихастов, Романа Сладкопевца и Иоанна Дамаскина русский интеллигент не знает. И это объясняется в первую очередь конечно тем, что в его культурной памяти есть место Элладе и Риму, Средним Векам и Ренессансу, Просвещению и Романтизму, но не нашлось места Византии; Василий Великий в отличие от блаженного Августина не вошел в число классиков. Наш школьный *currículum* отражает в этом пункте невежественные изъяны и ограниченность западного средневековья.

Неизмеримо удивительнее и печальнее нечувствие, непонимание византийского «завета» внутри самой Церкви, среди тех, кто продолжает исповедывать верность историческому

православию. Открытых врагов у Византии здесь мало: недавно строго и несправедливо осудил ее в своей книге о киевском христианстве Г. П. Федотов; еще раньше в эмигрантской письменности раздавались призывы «расковать» Евангелие и радоваться освобождению Церкви от удушавшей ее золотой парчи «константиновского периода». Но в подавляющей своей массе церковное общество остается традиционно верным византийскому обличению православия, не сомневаясь видит в нем самоочевидное выражение христианства.

Но вот в чем я вижу всё усиливающийся отрыв этого церковного сознания от подлинного понимания византинизма. С некоторых пор, особенно же сильно после революционного обвала в России, в православной Церкви всё очевиднее нарастает борьба разных «идеологий», разных переживаний христианства. И характерно то, что каждое из них неизменно апеллирует к византийскому «канону» православия, как к своему источнику и обоснованию. Мечта о реставрации священного теократического Царства, о новой победе над миром или же, напротив, аскетически-монашеская отчужденность от мира, вера в космическую преображающую силу таинств или же, напротив, переживание их как эсхатологического «инобытия». приятие культуры и отвержение культуры: все эти «установки сознания» так или иначе оправдывают себя Византией, ссылаются на то византийское наследие, которое без изменений сохранила до сего дня Церковь — в богослужении, в иконе, во всем «этосе» православной церковности. Из этого наследия каждая церковная идеология выбирает то, что ей больше по вкусу и затем свой «тип» византинизма утверждает как единственный, анафематствуя и обвиняя в предательстве все прочие. Она не замечает при этом, что и те возводят себя к тому же прототипу, вдохновляются всё тем же византийским первообразом.

Вот этот разноречивый в истолковании византинизма и показывает, что целостного понимания, целостной оценки его уже не существует, что потерял ключ от двери здания, которым, по видимому, все дорожат, как величайшей святыней и что, вместо того, чтобы попытаться найти этот ключ, мы попросту растаскиваем это здание по камням, не понимая, что нашими руками разрушается христианский византинизм.

Основная ложь каждого из таких частичных истолкований византинизма, частичной верности ему в том, что, утверждая свою самодостаточность, выдавая часть за целое, защитники их уже не способны настоящего целого увидеть. Поскольку же только в византийском целом и всякая часть раскрывает

ся в своем настоящем смысле, сведение всего к ней ее же саму и извращает. На наших глазах совершается не только поразительное сужение церковной памяти, но и настоящее искажение византийского предания. Разве не такой произвольный выбор чего-то одного, при отрицании всего прочего, не такую ли одержимость одной, хотя бы и правильной идеей называли «ересью» в золотые века византийского расцвета?

III

Но что же это за *целое* и как примиряются и уживаются в нем все эти так очевидно исключают друг друга утверждения? Это целое, в котором, я верю, и заключена непреходящая ценность византийского религиозного опыта, я назвал бы *византийским гуманизмом*. Я знаю, что такое словосочетание многим покажется странным, даже абсурдным. Ведь казалось бы, какие аспекты византийского мира ни перечислять — одного, именно гуманистического мотива мы в нем не находим. Разве то, что мы называем гуманизмом, — вдохновение творчества, самораскрытие личности, свобода исканий и выбора не начинается с восстания против сакрального, догматического средневековья?

Но, говоря о «византийском гуманизме», я как раз и не имею в виду никакого особого аспекта Византии, который можно было бы противопоставить другим — не гуманистическим. Тайна Византии в том, что все аспекты ее, которые сейчас вырываются и выдаются в качестве единственной ее сущности и в первую очередь два основных ее полюса — приятие мира и отвержение мира, в действительности только *вместе* составляют ее сущность, со всеми своими кажущимися противоречиями, во всей своей «логической» несводимости друг к другу. Взятый в отдельности каждый из них не только ограничен, не только отмечен преступлениями и падениями, но и в односторонности своей по существу ложен, действительно «античеловечен». Целиком оправдывать его, провозглашать его в качестве абсолютной нормы можно только при аберрации христианской совести, при забвении совершенной евангельской меры. Поэтому, не отказавшись от зачарованности исторической Византии, невозможно духовную правду византинизма снова увидеть как вечную и непреходящую правду. Правда же эта как раз в «совпадении противоположностей», совпадении не абстрактном, а глубоко жизненном, так что вырвать один аспект или заключить всю Византию в одну формулу равносильно предательству ее последней глубины. И вот мы подо-

шли наконец к той простой мысли, напомнить о которой и было нашей целью. Ведь в конечном итоге все аспекты византизма суть не что иное, как *действительные аспекты мира и человека*; точнее — мира и человека, какими явлены они нам в двуедином откровении Ветхого и Нового Заветов и какими мы уже не можем не видеть их, если только от этого видения сознательно не отrekliсь.

Это мир совершенный в Божественном о нем замысле, мир-космос, весь пронизанный лучами премудрости, и одновременно страшный в своем падении, распаде, «стихийности». И это человек — «образ и подобие Божие», свободный творец, призванный к бесконечному возрастанию и «обожению» — и одновременно падший, нищий, злой и греховный, носитель ада и смерти для самого себя и для мира. Надо понять, что византийская мечта о священном теократическом царстве, об освящении благодатью мира, природы, материи не только не противоречит аскетически-монашескому отвержению «мира и всех красных» его, но только в парадоксальном сочетании с ним приобретает свой подлинный смысл и, главное, находит свой суд, свою настоящую меру. Что «отрицательный» путь византийской мистики, с такой силой отвергающий позитивное, дискурсивное познание Бога и тайн мира, не исключает, а напротив, дает наконец подлинное измерение человеческому разуму, разрывая его ограниченность, возводя его к Божественному Логосу. Что даже иератическое искусство византийской иконы, византийского храма наполняет всякое человеческое искусство той глубиной, тем знанием о подлинном мире и о подлинном человеке во всех их измерениях, которых при своем совершенстве не имело искусство до-христианское... Повторяем — духовная правда Византии в том, что сколько бы сама она ни падала, как искаженно и часто греховно ни воплощала бы своего собственного видения — мир, очерченный всеми ее аспектами, есть мир, в котором до конца *реальны* добро, зло и свобода, в котором человек поставлен перед всей мерой своей ответственности. И то, что при логическом анализе, кажется противоречием, на деле есть только *правда*, сложная, мучительная, прекрасная и безобразная правда. А если под гуманизмом разуметь такое понимание мира и человека, в котором хотя бы только принципиально сохранены все их «измерения», и нет сознательной, *ограничивающей* лжи о них, нет ни дешевого оптимизма, ни дешевого пессимизма, то византийский опыт в истории человечества остается непревзойденной мерой христианского гуманизма.

Исторический грех Византии, до наших дней отравляющий Церковь и «оправдывающий» в известной мере восстание против нее «современного» даже христианского сознания в том, что она сама свою «форму» поставила выше ею же обретенной правды, абсолютизировала себя, вместо того чтобы жить абсолютизмом своего видения, и им судить и свои достижения и свои несовершенства. Поэтому, как я уже сказал, сделать своей вечную правду византинизма нельзя, не освободившись от рабства исторической Византии. Нужно не возвращаться в Византию, а только в самом мире, в самом человеке снова увидеть всё то, что увидело в них христианское зрение Византии.

Слишком многие сейчас готовы предать это видение, расчеловечить мир. Радикальные марксисты, сами того не зная сходятся с радикальными христианами, в отрицании божественного достоинства, глубины и славы человека — с которого сам диавол не может смыть света Духа. Как к последнему прибежищу мы обращаемся к культуре, к духовным ценностям, к музеям... Но не будем обманываться: то, чем светит нам эта культура и о чем свидетельствует, могло засиять только в мире, в который вошел образ совершенной жизни, в мире славы и нищеты, суда и милосердия, над которым возвышается Крест.

В исповедании мира именно таким — правда византинизма.

ЕЛЕНА ИЗВОЛЬСКАЯ

ТЕНЬ НА СТЕНАХ

(О Цветаевой)

А может, лучшая победа
Над временем и тяготеньем,
Пройти, чтоб не оставить следа,
Пройти, чтоб не оставить тени
На стенах...

Марина Цветаева

На экране прошлого мелькает тень. Но тень ли это? Ведь тени безмолвны, безжизненны, бледны, еле трепещут. А память о Марине, как бы она не желала кануть в «медленную лету», полна жизни, красок, насыщена музыкой.

Моя встреча с Мариной Ивановной Цветаевой относится к двадцатым годам в Париже, или вернее, под Парижем. Предместья Парижа, так называемая «банльэ», опоясывают самую красивую столицу в мире. Но сама по себе «банльэ» мало привлекательна. Есть нечто от Блока, от его улицы с «фонарем» и «аптекой», в этих скучных рядах тщедушных домиков, или очень старых, или слишком новых, как бы карточных, в которых селилась, за которые цеплялась русская эмиграция. И всё же в «банльэ» была своя прелесть. В ней мы жили вдали от столичного блеска и шума, вдали от метро с его лабиринтами, вдали от Монмартра и Монпарнасса. А главное, эти пригороды, невзрачные сами по себе, тянулись до самых опушек густых под-парижских лесов. Они были окутаны грустью, мечтательностью. А быть может столь поэтическими вспоминаются эти места, потому что связаны с поэтом.

Марина только что переехала с семьей в Париж из Праги. Ее печатали «Современные Записки» и «Версты». Кстати в «Верстах» сохранилась одна из немногих имеющихся у нас фотографий; увы, этот портрет мне представляется неудачным, «ретушированным», во всяком случае непохожим на ту Марину, которую я знала.

Была вечеринка у евразийцев, — ибо двадцатые годы, это — евразийства «счастливое начало», еще не расколов-

шееся, не подорванное, не отравленное изгибами и перегибами. Мы собрались на квартире одного из основоположников движения, к которому тогда еще примыкал и муж Марины, Сергей Эфрон. Крошечные комнаты были набиты гостями, в воздухе вились клубы дыма. Царило необычайное оживление; должно быть, присутствие нового среди нас человека, Марины, воспринималось нами как нечто загадочное, неизвестное, и очень значительное. Непохожа на свой портрет в «Верстах» Марина для меня потому, что на фотографии она слишком «хорошенькая», круглолицая, нарядно одетая и причесанная. Та, которую я в тот вечер увидела, была ни нарядной, ни хорошенькой: худа, бледна, почти измождена; овал лица был узок, строг, стриженные волосы — еще светлые, но уже подернуты сединой, глаза потуплены. Вся она была не хорошенькая, а *иконописная*. Однако, несмотря на некоторую суровость она быстро втянулась в атмосферу нашей вечеринки, и приняла участие в беседе. Мне хочется тут подчеркнуть, что Марина вовсе не была столь «дикой», «одинокой», «нелюдимою», как ее нынче часто изображают, и как она сама себя любила изображать. По крайней мере *внешне*, она людей не чуждалась, даже охотно с ними знакомилась, интересовалась ими. В ней была очень большая чуткость к человеку, она искренно хотела с ним общаться, но не умела, быть может, или не решалась, к этому мы еще вернемся.

На вечеринке, помнится, Марина направила на меня взгляд своих зеленоватых, мутных, близоруких, и удивительно прозорливых глаз. И заговорила со мной о Пастернаке. В то время, я как раз перевела на французский язык стихотворение Пастернака «Душная Ночь». Перевод мой был напечатан в литературном журнале «Коммерс», под редакцией Поль Валери. Каким-то образом, Пастернак имел возможность познакомиться с моей работой и, по сообщению Марины Цветаевой, остался доволен. Цветаева сама очень любила это стихотворение, одно из «несказаннейших», как пишет она¹. Итак, под знаком Пастернака, мы с Мариной познакомились. Кроме того, мы оказались соседями.

Я жила в «банльэ» в Медоне, на улице Маршал Жоффри. Марина с семьей наняла в Медоне же квартиру на улице Жан Дарк. От меня к ней пешком не больше пятнадцати минут. Сейчас же за улицей Жан Дарк, дорога подымалась круто в гору. На ближайшей рю де Пиерр, стоит домик, в кото-

¹ Марина Цветаева: «Проза». Чеховское Изд.

ром когда-то, давно жил Мольер. Еще выше, — была дача известного в наше время философа Жака Маритэна. А еще выше, великолепная терраса с обсерваторией, задуманные Ленотром, создателем Версаля. С террасы открывался вид на весь Париж от Собора Сакрэ Кэр до Эйфелевой башни. А если спуститься вниз другой дорогой, перед нами вырастала студия скульптора Родэна, которого мне еще удалось застать в живых. Позже, его дом перешел к Айсодоре Дункан.

Мы много ходили с Мариной Ивановной по этим местам, подымались на террасу, бродили по улочкам и переулкам с историческими названиями. Но нас особенно тянуло в леса, которые простирались от Медона до Кламара (где жил Бердяев). То были старинные леса королевских охот, прорезанные широкими аллеями, ведущими к очищенным многими поколениями «рон-пуэн» (Rond-Point), гладко-выстриженным полянам — перепутьям. Марина очень любила эти прогулки, и я также ими наслаждалась. К нам часто присоединялась ныне покойная Анна Ильинишна Андреева, вдова Леонида Андреева. Мы блуждали часами по лесу. Много говорили о поэзии, о поэтах. Цветаева говорила, разумеется, и о своем творчестве, но *никогда* при нас не «рисовалась». Она цитировала чаще всего своих любимых авторов: Пушкина, которого называла просто «Александр Сергеевич», точно он был ее хорошим знакомым... Гёте, Рильке, Пастернака, Блока, Мандельштама. Кроме друзей-поэтов, у нее был еще друг — природа. Она была в тесном контакте с лесом, с лесными цветами, грибами, ягодами. Во время наших прогулок, Марина собирала хворост, а порою и дрова, для отопления квартиры. Посягательство на государственное лесное имущество было запрещено законом, но лесничие редко попадались нам на глаза. Топлива было в этих чашах сколько угодно. А для Марины это был клад, вроде прищвинского.

Те кто знали Марину Цветаеву во Франции, помнят, что она с семьей *крайне нуждалась*. Муж ее, Сергей Эфрон (Сереза), еще не соблазненный коммунизмом, болел туберкулезом в острой форме. Он был неработоспособен. Дочь, Аля, была подростком. Наконец, был сын, Мур, еще ребенок. Мать его любила больше всех и вся. Быть может, из за него столько выстрадала, и в дальнейшем погибла (когда уехала с ним в Россию). Мы так мало до сих пор знаем об этой трагической развязке.

Мур сопровождал нас во время наших прогулок. И мало нам причинял радостей. Он был мальчиком очень умным, но

избалованным до нельзя, непослушным, просто буйным. Рос он богатырем, мог бы стать Ильей Муромцем, но скорее превратился в Соловья Разбойника. Он был огромного для своих лет роста, широкоплеч, кудряв. У матери, Мур научился дивному русскому языку. Он держал мать за руку, или, вернее, она его. Он рвался из этой «мертвой хватки»: «Мама, кричал он, можно мне на волю?». При слове «воля», Марина отпускала сына, он убегал в чашу, и ее близорукные глаза тревожно его искали.

Марина устраивала свои вечера в Париже, в весьма убогом, невзрачном зале. Она читала доклады, стихи. Приходили друзья, но их было так мало! В первом ряду, сидел Сергей, Аля, Мур. Аля вязала шарф. Мур сосал карамельки. Сережа слушал, склонив романтически голову. Все трое чувствовали себя как-то неловко. И всё же, это была *семья* Марины; они без нее, она без них, перестали бы существовать... Когда заканчивалось чтение, «публика» обступала Марину. Она, как всегда, рассеянная, близорукая, но как будто оживленная, улыбалась, жала руки. Но вся она была обвеяна холодком, холодом, непроницаемой грустью. И всё же, в Париже, у Марины *была* аудитория, были друзья, поклонники, ученики. Быть может, вернувшись затем в Россию, она верила, что и *там* они найдутся. И *там* они были, но ей не дали с ними встретиться.

О Цветаевой можно писать как о поэте, о прозаике. Можно писать как о трагически погибшей в советской ловушке. Можно писать, как о жене Сергея Эфрона, который подтвердил страшное предсказание Достоевского, и стал одержимым, и с бесами погиб. Но ведь есть еще *просто* Марина, та которая жила среди нас в Медоне, и о темных делах и жутких соблазнах Сережи не догадывалась (об этом мы, знавшие ее тогда, можем засвидетельствовать; не догадывалась, потому что жила в своем собственном мире, *далеко* от них всех, даже от самых ей близких). Об *этой* Марине я могу только писать, да и другой вообще не было. Это, *моя* Марина; та, которая трудилась, и писала, и собирала дрова, и кормила семью крохами. Мыла, стирала, шила, своими когда-то тонкими, теперь огрубевшими от работы пальцами. Мне хорошо запомнились эти пальцы, пожелтевшие от куренья, они держали чайник, кастрюлю, сковороду, котелок, утюг, нанизывали нитку в иголку, и затапливали печку. Они же, эти пальцы водили пером или карандашом по бумаге, на кухонном столе, с которого спешно всё было убрано. За этим

столом Марина писала, — стихи, прозу, набрасывала черновики целых поэм, иногда чертила два, три слова, и какую-нибудь одну рифму, и *много, много* раз ее переписывала. Таков был закон ее творчества. Следить за ним было нечто вроде наблюдений натуралиста за ростом травки, листика, стебелька, за вылуплением птенцов в лесных гнездах, за метаморфозой бабочки из куколки.

На наших глазах, Марина Цветаева писала, на наших глазах, также, увы! трудилась непосильно, бедствовала, часто голодала. Русский Париж создал весь трагизм ее положения, — разве можно заработать «прожиточный минимум» стихами и беллетристикой? А другого «ремесла» у нее не было. И быть не могло. Создалось «общество помощи Марине Цветаевой», кое-как оплачивающее квартиру и семейный паек. Сердце не камень, но чем сердце лучше камня? *Такой* нищеты в русской эмиграции мне редко пришлось видеть.

Мы, ее медонские соседи, тем более делили ее заботы, что постоянно у нее бывали. Чем могли ее «выручали», но она нам со своей стороны *столько* давала, что ничем, абсолютно ничем, нельзя было ей отплатить. И теперь уже со-той доли в памяти восстановить нельзя, только в сердце со-хранить.

Все те, которые любили Марину, одни из-за нее самую, другие за ее творчество, третьи и за то и за другое (так это было неразрывно!) — постоянно засиживались у нее на кухне. Эфрона дома почти никогда не бывало. Аля уходила со двора. Если Мура удавалось уложить спать без протестов, мы попадали в царство Марины, в волшебный круг. В то время, к ней часто заходил Д. Святополк-Мирский, также еще, как Эфрон, не соблазненный коммунизмом. Он был профессором Лондонского университета, и писал свою историю русской литературы. На каникулы, приезжал в Париж, и немедленно направлялся в Медон, к Марине. Сутулый, чернобородый, с каким-то странным, хищным оскалом зубов, он часами просиживал на улице Жан Дарк. Марина ему давала в руки кофейную мельницу, какую-то особую, кажется турецкую. Мирский покорно молот кофе. Несчастный, мятежный, обреченный, он делался у нее мягким, ребячески доверчивым, почти счастливым!

Вокруг Марины, собирались люди всевозможных толков политических и религиозных убеждений, и литературных школ. У нее были друзья среди с.р-ов, кадет, монархистов. Послед-

ним она читала вслух свою поэму о гибели царской семьи. В этой поэме, была выражена глубокая нота обреченности, которую *ни* монархисты *ни* анти-монархисты не понимали. Ведь недаром, она себя позже, накануне смерти, сравнивала с Марией Стюарт. К политике, Марина очень была равнодушна, ни к какой политической группе не принадлежала. В отношении же коммунизма, она была, однако, вполне искушена, знала чем это грозит ей и семье, горьким опытом этому в свое время в Советской Москве до выезда своего за границу, научилась. См. «Нездешние Вечера»². Не любила она коммунизм; но любила Россию. Любовь к родине, была несомненно доминирующим аккордом и творчества ее, и личных переживаний. И когда приблизился ее смертный час, ее, как желтый лист захватило дыхание русской осени, и закрутило, и унесло далеко от нас, домой, умирать в России.

Как указано выше, Марина Цветаева вовсе не была одинокой. Она любила людей, и люди ее любили. В ней была даже некая «светскость», если не кокетство, — желание блеснуть, поразить, смутить, очаровать. У нее было много друзей. Она мне часто говорила, что их ценит, охотно с ними сходится, но затем, к сожалению, теряет. Ее желание, жажда общаться, почти всегда *внезапно пресекалась*: «Тогда, добавляла она со вздохом, не то печали, не то освобождения, жизнь *швыряет* меня обратно в мою келью, за письменный стол, к творчеству».

Но не все умели так легко рвать с Мариной. Некоторые к ней были глубоко привязаны, и она к ним. У нее часто бывал князь Сергей Михайлович Волконский, бывший директор Императорских театров. На старости лет, Волконский попал в Париж и писал театральные отзывы в «Последних Новостях». В нем сочеталась русская культура и Запад, Декабристы и Италия, Далькроз и русский балет, аристократизм и демократия, православие и католичество. В прошлом, он владел огромными богатствами, в изгнании же был крайне беден. Лет ему было около семидесяти.

Марина искренно, даже страстно, увлекалась Волконским, его красотой, стилем, блестящим умом, верным артистическим вкусом. Бывала у нее и молодежь. Она очень привязалась к юному поэту, альпинисту, Н. П. Гронскому, автору альпийской поэмы «Белладонна». Как ни странно, Гронский по-

² Ibid.

гиб не в горах, а в Париже, от несчастного случая. Марина его оплакивала. Она особенно была созвучна тем, которые гибли, уходили, которых она теряла, или которых даже не встречала, но издали любила: как например Рильке; она с ним была в переписке, но лично не была с ним знакома. С Пастернаком, как она пишет, было лишь «шапочное знакомство»³.

Особенно близко я подружилась с Мариной Цветаевой летом 1930-го года. Сергей Эфрон в то время лечился в санатории расположенной в Савойе. Марина наняла поблизости старый, полуразвалившийся и очень живописный крестьянский дом. К ней я переехала на каникулы. Мне отвели единственное свободное помещение, нечто вроде погреба. «Вот и ваш склепик» иронически заметил Эфрон.

Жили мы как в пустыне, в самой примитивной обстановке. А были неизмеримо счастливы. Дома редко сидели, больше гуляли, целые дни проводили «на воле», любясь дивным горным пейзажем. Лишь к вечеру возвращались, и долго засиживались то за беседой, то за книгой, то над каким-то одним Марининым стихом, в муке и радости выношенным. Не будучи специалистом по стихосложению, мне трудно установить «технику» этого творчества, но *органический* процесс его у Марины я хорошо запомнила. Цветаева жила постоянно в поэтическом напряжении. Всё равно, что бы она не делала: убирала ли квартиру, готовила, заботилась о семье, или гуляла, — была ли одна или на людях, всё также стремительно неся в ее сознании поток слов, звуков, созвучий. Это был поток бурный, непокорный, который, как она сама говорила «швырял ее» обратно в келью. Она не довольствовалась одним «формальным мастерством», «лабораторной работой», как пишет Ф. Степун⁴: она слушала *внутри себя*, где уже не было ничего кроме волн, вибраций, за пределами фонетики и стиха. Марина научила меня вслушиваться в каждое слово, как в ЛОГОС. И каждое слово, особенно ее родное, наше русское, было оснащено огромным значением. Его нельзя было в ее присутствии произносить *всуе*. Как сейчас вспоминаю, перечитывая ее стихи и прозу, голос Марины, повторяющий с упоением одно какое-нибудь словосочетание: выражение ее лица преображенного гармонией, и как бы склоненное к земле ухо. Особенно звон-

³ Ibid.

⁴ Ibid. Предисловие Ф. Степуна. Чеховское изд.

кое, насыщенное ритмом выражение, она отмечала взмахом руки, кивком головы, и долго оставалась затем настороженной, как бы ожидая, что где-то далеко отзовется эхо — рифма.

Марина прислушивалась также ведь и к стихам *других* поэтов, и в них раскрывала тайну. И не только поэтов известных, но и едва ли комунибудь, кроме ей попавшихся на глаза. Она очень любила и часто повторяла при мне стихи «неизвестной монахини»⁵, которые она записала в мой молитвенник.

Особенно она любила заключительные строки:

Человечество всё же богато
Лишь порукой добра круговой.

В савойском домике мы с Мариной сидели всю ночь напролет; когда расходились, заря занималась, и приветствовала какой-нибудь новый Маринин стих. «Внимало всё тогда любимцу и певцу авроры». Я возвращалась в свой «склепик», и мирно засыпала. Но не я, а Марина, теперь ушла «под вечны своды». И над ней восходит вечная заря.

⁵ Ibid.

Прочитано в Париже, 26-го июня,
на вечере в память Есенина.

1

Должен, прежде всего, оговориться, что за всю мою жизнь я не сумел осмыслить смерть, как окончательное исчезновение. Смерть всегда представлялась мне, как более или менее длительное отсутствие перед будущей и *непременной* встречей. Даже думая о Леонардо-да-Винчи, с которым я успел довольно близко познакомиться, я не теряю уверенности, что однажды встречу с ним лично и, с некоторым запозданием, почтительно пожму его руку.

Эти мои чувства вполне совпадали со словами Есенина, написанными, в ночь самоубийства, кровью разрезанной вены:

Предназначенное расставанье
Обещает встречу впереди.

Вот почему я не научился говорить об умершем иначе, чем если бы я говорил о живых, и надеюсь, что Есенин, с которым я всегда сохранял самые лучшие отношения, на меня и теперь не обидится.

Моя первая встреча с Есениным, Сергеем Есениным, Сережей, Серегой, Сергуней, восходит к тому году и даже к тем дням, когда он впервые появился в Петербурге. Было это, кажется, в 14-м или в 15-м году, точную дату я запомнил. Состоялась эта встреча у Ильи Репина, в его «Пенатах», в Куоккала, в одну из многочисленных репинских сред. В изданной Институтом Истории Искусств (Москва, 1949) двухтомной биографии Репина, его ученик, Антон Комашка, творчество которого мне незнакомо, так описывает этот вечер:

«Однажды, в среду, писатель Иероним Ясинский приехал в «Пенаты» с одним юношей. Нельзя было не обратить внимание на его внешность. Свежее лицо, прямо девической красоты, с светлыми глазами, с вьющимися кудрями цвета золотистого льна, элегантно одетый в серый костюм. За круглым столом, при свете ламп, проходил обед. Потом обратились к пище ду-

ховной. Вот тут-то Ясинский представил всем молодого русского поэта — Сергея Есенина. Есенин поднялся и, устремив светлый взор вдаль, начал декламировать. Голос его был чистый, мягкий и легкий тенор. В стихах была тихая грусть и ласка к далеким деревенским полям, с синевой лесов, с белизной нежных березок, бревенчатых изб... Так живо возникали лирические образы у нас, слушавших чтение. Репин аплодировал, благодарил поэта. Все присутствовавшие выражали свое восхищение».

Это описание не соответствует действительности. Есенина привез к Репину не Ясинский, а Корней Чуковский. Появление Есенина не было неожиданностью, так как Чуковский предупредил Репина заранее. И не только Репина: я пришел в ту среду в «Пенаты», потому что Чуковский, с которым мы встречались в Куоккала, почти ежедневно, предупредил и меня. Лицо Есенина (ему тогда едва ли было двадцать лет) действительно удивляло «девической красотой», но волосы не были ни цвета «золотистого льна», ни цвета «спелой ржи», как любят выражаться другие: они были русые, это приближается к пригашенной бесцветности березовой стружки. Прожив около тридцати лет за-границей, мы начинаем ценить богатство и точность русских определений. Вместо элегантного серого костюма, на Есенине была несколько театральная, балетная крестьянская косоворотка, с частым пастушьим гребнем на кушачке, бархатные шаровары при тонких шевровых сапожках. Сходство Есенина с кустарной игрушкой произвело на присутствующих неуместно-маскарадное впечатление, и, после чтения стихов, аплодисментов не последовало. Напрасно Чуковский пытался растолковать формальные достоинства есенинской поэзии, напрасно указывал на далекую связь с Кольцовым, на свежесть образов, — гости Репина, в большинстве люди солидного возраста, либеральные адвокаты и так называемые общественные деятели (довольно неопределенная профессия) остались холодны, и сам хозяин дома не выразил большого удовольствия:

— Бог его знает, — сказал Репин суховато, — может быть и хорошо, но я чего-то не усвоил: сложно, молодой человек!

Посетителями репинских сред бывали, впрочем, не только художественные и общественные деятели. Помню, как в один из таких дней появился в «Пенатах» никому неизвестный и очень застенчивый пожилой человек провинциального облика. Весь вечер и за обедом он не сводил с Репина восторжен-

ных глаз и не обменялся ни с кем ни одним словом. Прощаясь, Репин любезно спросил его:

— А кто вы, собственно, будете, если бы нам познакомиться?

Посетитель оглянулся на окружающих и смущенно произнес:

— Я — тоже из Чугуева.

Как известно, Репин был родом из Чугуева.

2

Поздно вечером, по дороге к вокзалу, мы — Есенин и я — оказались пешими попутчиками. Наш разговор не касался ни поэзии, ни деревни. Болтали о всякой всячине, о травяной кухне Репина. Пройдя версты две, Есенин неожиданно остановился и, махнув рукой в сторону «Пенат», сказал, не то утвердительно, не то с опаской:

— А, пожалуй, обойдусь и без них!

И, пройдя еще с пол-версты:

— Чорт с ним, с поездом: трепня! Заночую у вас, а?

Так мы познакомились. За ту ночь я прослушал столько стихов, сколько мне не удалось услышать ни на одном литературном вечере. С той же ночи, наше знакомство постепенно перешло в близость, и, потом, в забулдыжное месиво дружбы.

В моем «родовом» куоккальском доме, прозванном там «литературной дачей» и отделенном узкой дорогой от знаменитой «Мызы Лентула», где много лет провел Максим Горький, жила подолгу друзья моего отца: освобожденная из Шлиссельбурга Вера Фигнер; Владимир Галактионович Короленко; Николай Федорович Анненский, редактор «Русского Богатства», и его старушка-жена, переведшая для нас, для русских, «Принца и Нищего», Марка Твэна; известный в период первой революции издатель подпольной литературы Львович; Евгений Чириков; Скиталец...

Гостил у моего отца и его знаменитый земляк, олонецкий мужик, былинный сказитель Рябинин. Пил много чаю, копал с отцом грядки в огороде и обильно сказывал. Слушать его я мог без конца, как добрый церковный хор.

Позже — Корней Чуковский, Сергеев-Ценский, Сергей

Городецкий. Николаша Евреинов, проживший в моем доме целую зиму, развел во втором этаже курятник, так что там пришлось произвести капитальный ремонт. В качестве гостей, на «литературной даче» засиживались Горький, Андреев, Куприн, Репин, Инокентий Анненский, Шаляпин, поддевочный Стасов, Мейерхольд, всех не упомяну...

Есенин провел ночь в комнате для друзей, на кровати, на которой в разное время, ночевали у меня Владимир Маяковский, Михаил Кузмин, Василий Каменский, Осип Мандельштам, Виктор Шкловский, Лев Никулин, Бенедикт Лившиц, Александр Беленсон, Владимир Хлебников, всех не упомяну...

Хлебников, с которым я очень дружил, был неотразим, странен и, в противоположность Есенину и многим другим поэтам, патологически молчалив. Случалось, что мы просиживали с ним целые ночи, не проронив ни одной фразы. Он сидел, углубившись в кресло, похожий на аиста, и смотрел на меня; я делал тоже самое. В этом было нечто гипнотическое. Не помню, курил ли он или не курил. Кажется, курил. Молча, мы, однако, не переставали разговаривать друг с другом. Как-то, заметив, что Хлебников закрыл глаза, я приподнялся и хотел неслышно выйти из комнаты, чтобы его не разбудить.

— Не перебивайте, — произнес Хлебников, не открывая глаз, — поговорим еще. Пожалуйста.

Иногда наша бессловесная беседа превращалась в горячий спор молчаний и даже вылилась раз, часов около пяти утра, в открытую хоть и немую ссору. Хлебников встал с кресла, глядя на меня с ненавистью, и сделал шаг к двери. Вспомнив долг хозяйского гостеприимства, я схватил его за плечи:

— Куда же прете в такой час, Велемир?

— Пру! — ответил он упрямо, но, собравшись с чувствами, снова утонул в кресле и в молчании.

Минут через двадцать мы привели себя к общему знаменателю и помирились.

Возможно, что бессловесный разговор, часто полный значительного содержания, был той самой заумной речью, которая материализировалась в поэзии Хлебникова в его заумные слова. Потому что его заумные слова были всегда красноречивы. Хлебников был настоящим, химически очищенным художником слова, нежелавшим придавать ему документальный смысл. «Желание умно, а не заумно, понять слово привело к гибели художественного отношения к слову», — писал он где-

то. У Хлебникова была своя неоспоримая правда творчества, отвергавшая всякую зависимость художника от реальности. «Когда я замечал, как старые строки вдруг тускнели, когда скрытое в них содержание становилось сегодняшним днем, я понял, что родина творчества — будущее. Оттуда дует ветер богов слова... Вдохновение, это дорога, копыта будущего, его железных подков», — писал он тоже, и, конечно, был прав. Безымянный, затерявшийся в веках поэт изобрел ангела, летающего человека. Этот образ, миф, был живым на протяжении тысячелетий, потому что его не было в реальности. Теперь он умер: ангелов убили самолеты, ангелы на железных подковах. Но если бы безымянный, хоть и гениальный, автор первобытного ангела дожил бы до сегодня, он бы также по-детски эгоистически радовался авиации, как по-детски радовался Хлебников советскому строю, убившему поэзию:

— Эсэфэсэр чека совнарком эркапэ ахрр — это мое звание, памятник Хлебникову! — с гордостью говорил он.

.....

В жизненном укладе Хлебникова странности были самых неожиданных разновидностей. Одним утром, зайдя в комнату для друзей, когда Хлебников был еще в постели, я удивился отсутствию его костюма, брюк, пиджака.

— Я засунул их под кровать, чтобы не запылились, — пояснил он.

Должен засвидетельствовать, что комната содержалась с большой опрятностью, и пыль можно было обнаружить разве что только под кроватью. Происшествие чрезвычайно взволновало мою служанку Настю, большую чистоплотницу, которая, кстати, очень приглянулась Есенину. Есенин заговорил с ней за утренним чаем такой изошренно-фольклорной рязанской (а может быть и вовсе не рязанской, а ремизовской) речью, что, ничего не поняв, Настя, называвшая его, несмотря на косоворотку, барином, хихикнув, убежала в кухню.

Настя относилась с искренним презрением к посещавшим меня интеллигентским чудакам, галдевшим (за исключением Хлебникова) до рассвета и бросавшим окурки на пол. Долговязый Агнивцев, будучи на легком взводе, однажды так погнался по комнатам за Настей, что по дороге сломал стул. Но, после отъезда Есенина, она призналась мне, что «молодой барин» был «красавчиком». Фальшивая косоворотка и бархатные шаровары, тем не менее, не понравились и ей. Они, впрочем, предназначались для другой аудитории.

Теперь начинается петербургско-московский и, вскоре, всероссийский, трактирно-салонный хаос есенинской жизни, есенинского творчества и стремительного роста есенинской славы, трагическое десятилетие угара, который многие называют «поэтическим», но в котором, в данном случае, поэтическим было только то, что сам Есенин был несомненным поэтом. Трудно, однако, сказать с уверенностью, что́ было бы для Есенина главным и что́ — подсобным: поэзия или хулиганская слава, которой он особенно гордился, отнюдь этого не скрывая?

Я нарочно иду нечесаным,
С головой, как керосиновая лампа, на плечах...
Мне нравится, когда каменья брани
Летят в меня, как град рыгающей грозы,
Я только крепче жму тогда руками
Моих волос качнувшийся пузырь.

Или:

Не сотрет меня кличка «поэт»,
Я и в песнях — хулиган.

Тягой, стремлением, гонкой к славе, к званью «первого русского поэта», к «догнать и перегнать», к перескочить и переплюнуть, были одержимы многие поэты того времени: Игорь Северянин, Владимир Маяковский и даже кроткий, молчаливый и как бы вечно испуганный Велемир Хлебников, скромно именовавший себя Председателем Земного Шара. Как-то я спросил Есенина, на какого чорта нужен ему этот сомнительный и преждевременный чемпионат?

— По традиции, — ответил Есенин, — читал у Пушкина «Я памятник себе воздвиг нерукотворный»?

Когда я подтвердил, что встречал этот памятник не только у Пушкина и не только у Державина, но даже у Горация, Есенин взглянул на меня в упор и сказал:

— Этого типа не помню, не читал.

.....

Пушкин вообще не давал спать поэтам. И не столько сам Пушкин, сколько памятник Пушкину. В частности, Маяковскому, наряду с далеким Пушкиным, не давало покоя и ближайшее соседство с Есениным:

Александр Сергеевич,
разрешите представиться —
Маяковский.
Дайте руку...
Стиснул?
Больно?
Извините, дорогой...
Мне
при жизни
с вами
сговориться б надо.
Скоро вот
и я
умру,
и буду нем.
После смерти
нам
стоять почти что рядом;
вы на Пе,

а я
на эМ...
Что ж о современниках?!...
От зевоты
скулы
разворачивает аж!...
Ну Есенин,
мужиковоствующих свора,
Смех.
Коровою
в перчатках лаечных.
Раз послушаешь...
но это ведь из хора!
Балалаечник!
.....
Мне бы
памятник при жизни —
полагается по чину.

Теперь из Есенина:

Мечтая о могучем даре
Того, кто русской стал судьбой,
Стою я на Тверском бульваре,
Стою и говорю с собой.
Блондинистый, почти белесый,
В легендах ставший, как туман,
О, Александр! Ты был повесой,
Как я сегодня хулиган.

.....

Но, обреченный на гоненье,
Еще я долго буду петь...
Чтоб и мое степное пенье
Сумело бронзой прозвенеть...

Обозвав Есенина «балалаечником», Маяковский, в той же поэме неосторожно сбросил маску героического новатора (на всякую старуху бывает проруха) и открыл свои подлинные вкусы и симпатии:

Некрасов
Коля,
сын покойного Алеши —
он и в карты,
он и в стихах,
и так
неплох на вид.

Знаете его?
Вот он
мужик хороший.
Этот
нам (т. е. Пушкину
и Маяковскому)
компания —
пускай стоит.

Подобное, для многих неожиданное, оголение произошло и с прежним сотрудником Маяковского, Игорем Северяниным, перебравшимся после революции в Эстонию. Помню напечатанное им там стихотворение:

Привет Республике Эстляндской,
Великой, честной и благой,
Правленья образ шарлатанский
Поправшей твердою ногой.
Приятно сознавать, что хлеба
Нам хватит вплоть до сентября,
Что эстов одарило небо,
Их плодородием дая.
И, как не хмурься Мефистофель,
Какие козни нам не строй,
У нас неистошим картофель:
Так здесь налажен жизни строй.

Александр (Сашура) Беленсон напечатал по этому поводу следующее:

«Поскребите Игоря Северянина и вы легко обнаружите Дядю Михея. Лично мне цитированная поэза представляется решительно ничем не хуже прежних, столь популярных, поэз «флер д'оранжного» Игоря Северянина. Просто — маленький сдвиг в области темы, — всё-таки ведь революция прошла».

Дядя Михей (может быть, вы его не знали) был известный в свое время забавнейший стихотворец реклам, которые мы, подростки, весело запоминали наизусть:

Как вкусна, дешева и мила
Абрикосовая пастила.
А впрочем, и прочее.
Убедитесь воочию.

Бедный Маяковский не избежал и этой участи, вот хитроватые примеры:

Нигде кроме,
Как в Моссельпроме!

* * *

В особенности хороши
Резинки и карандаши!

* * *

Прежде, чем идти к невесте,
Побывай в Резинотресте!

Таким образом, разделенные географически и политически, Маяковский и Северянин, остались попутчиками.

Оговариваюсь еще раз, как в первых строках: Маяковский обладал громадным и, в своем роде, единственным талантом. Его формальное искательство было чрезвычайно своевременным и полезным. В этом отношении русская поэзия останется ему обязанной. К несчастью его версификаторское мастерство быстро превратилось в механический прием. Изобретательный техник, он не нашел, или — вернее — слишком рано потерял в себе поэта и, ища практического применения своим возможностям, нашел его в прикладном искусстве. «В наше время тот — поэт, кто полезен», провозгласил он. Отсюда — один шаг до Дяди Михея и... до смертельной скуки официального признания.

Маяковский был полной противоположностью Есенину, которому «миссия служительства» пришлось не по нутру. Есенин всем своим творчеством стремился доказать, что в наше *материалистическое* время полезен тот, кто — поэт. Отсюда, в «наше время» — один шаг до жертвенности и отчаяния.

С Маяковским мы были 17 лет друзьями. Я крыл его в крокет, он крыл меня в карты, и мы оба часто крыли друг друга матом. Всё сказанное выше я не раз говорил Маяковскому при его жизни: ничего, уживались. Он может это подтвердить.

Какой-то И. Беспалов написал о Маяковском: «Он вел борьбу с капитализмом средствами поэзии и был поэтическим соратником рабочего класса и его партии на всех этапах революции». До тех пор, пока не застрелился от скуки. Есенин повесился от отчаяния...

В последний раз я столкнулся с Маяковским на улице в Ницце, в год его смерти.

— Тыщи франков у тебя не найдется? — спросил он с места, — всё продул в Монтэ-Карло. Удивительно негостеприимная странишка!

С деньгами у Маяковского всегда происходили неувязки, несмотря на очень стройную концепцию денежного обращения. Еще до революции мы встретились на Надеждинской улице. Маяковский вышел от зубного врача и с гордостью показал мне новый зуб.

— Сколько стоило? — любопытствовал я.

— Поэты тянут авансы в издательствах, но не платят дантистам. Дантисты должны смотреть на нас лобачьими глазами и получать гонорары автографами.

4

Разгул Есенина, бессонные ночи, трепня с литературных подмостков на светские ужины, знакомства, знакомства, публичные выступления и скандалы развивались параллельно его популярности. По счастью, декоративная косоворотка балалаечника уступила место (как, в свое время, у Горького) городскому пиджаку. Но «девическая краса» его лица быстро поблекла. Цвет кожи стал желтовато-серым, под глазами натекли легкие припухлости. Таким, чуть-чуть отечным юношей, не потерявшим стройности и грубоватой грации русского подмастерья, он оставался до конца своих дней или, по крайней мере, до того дня, когда я встретился с ним в последний раз, после его возвращения из за-границы. Таким он сохранился и на моем наброске, который мне удалось с него сделать, несмотря на сумбурность встреч.

Говорить о прославленных пьянствах Есенина я, насколько возможно, не стану. Это — его личное дело, хотя это личное, в большинстве случаев, проходило публично. Да и можно ли вообще сыскать поэтов «уравновешенных»? Настоящее художественное творчество начинается тогда, когда художник приступает к битью стекол. Виллона, Микель-Анджело, Челлини, Шекспира, Мольера, Рембрандта, Пушкина, Верлэна, Бодлэра, Достоевского и *tutti quanti* — можно ли причислить к людям «*comme-il-faut*»? В моей памяти гораздо глубже воспоминания о тех редких встречах без посторонних свидетелей, когда Есенин скромно, умно и без кокетства говорил об искусстве. Говорил, как мастер, как работник. Распространенное мнение о том, будто Есенин был поэтом, произведения которого слагались сами собой, без труда, без кройки, совершенно не верно. Я ви-

дел его черновики, зачеркнутые, перечеркнутые, полные по-марок и поправок, и если строй его поэзии производит впечатление стихийности, то это лишь секрет его дара и его техники, о которой он очень заботился.

Во французской Антологии Русской Поэзии, составленной Эммануилом Рэ и Жаком Робером, где можно прочитать следующие слова:

“Il est inutile de présenter au public français, qui le connaît et l'admire depuis longtemps, le grand prosateur de célébrité mondiale Пюа Ehrenbourg, pour qui la poésie est un art aussi familier que la prose,”

Есенину в этой книге посвящена такая аттестация:

“Essenine est tout à fait aboulique, impulsif, dépourvu de toute discipline personnelle, ainsi que de toute culture; aussi son oeuvre abonde-t-elle en lieux communs et en exagérations inefficaces. La trame de ses poèmes est le plus souvent de deuxième ordre. Dans l'éclatante cohorte des grands poètes de l'époque soviétique, sa place reste secondaire.”

Как бы в ответ на эту тенденциозную и безответственную чушь, Георгий Иванов пишет об Есенине:

«С посмертной судьбой Есенина произошла волшебная странность. Он мертв уже четверть века, но всё, связанное с ним, как будто выключенное из общего закона умирания, забвения, продолжает жить... И как-то, само собой, случилось так, что по отношению Есенина формальная оценка кажется ненужным делом... Это вообще скучное занятие, особенно, когда в ваших руках книжка Есенина. Химический состав весеннего воздуха можно тоже исследовать и определить, но... насколько естественней просто вдохнуть его полной грудью...».

Вдыхая полной грудью поэзию Есенина, нельзя, может быть, не заметить ее недостатков (у кого их нет?), но не простить их тоже нельзя. Ему можно простить даже его ложный «песенный лад», так нравившийся курсисткам и прочим завсегдаям литературных вечеров, все эти

Эх, бывало, заломил шапку!
Эх, вы, сани! Что за сани!
Эх, вы, сани! А кони, кони!
Эх, вы сани, сани! Конь ты мой буланный!
Эх, гармошка, смерть-отрава!
Эх, любовь-калинушка!
Эх, береза русская!
Ой, вы луга и дубравы!
Ой, ты парень синеглазый!

Ой, вы санки-самолеты!
Ой, не весел ты, край мой родной!
Ой, удал и многосказен!
Гой ты, Русь моя родная!
Гей, вы нелюди-люди!
Ах, не выйти в жены девушке весной!
Ах, у луны такое светит!
Ах, постой, я ее не ругаю!
Ах, постой, я ее не кляню!
Ах, увял головы моей куст!
Ах, перо не грабли, ах, коса не ручка!
Ах, Толя, Толя, то-ли, то-ли!
Эй, вы, соколы родные!

И так далее...

В устах Рябинина эти распевы звучали гораздо правдивее, хоть он и не был автором, но лишь многотысячным соавтором.

Есенину можно простить и некоторые не совсем понятные совпадения, как например:

Не шуми, осина, не пыли дорога,
Пусть несется песня к милой до порога.
Пусть она услышит, пусть она поплачет
Ей чужая юность ничего не значит.

И у Лермонтова:

Ты Расскажи всю правду ей,
Пустого сердца не жалея. —
Пускай она поплачет...
Ей ничего не значит.

80 лет расстояния...

Но невозможно не поблагодарить Есенина за его «Песню о Собаке», песню, от которой я заплакал, когда он мне ее прочитал.

Утром, в ржаном закуте,
Где златятся рогожи в ряд,
Семерых оценила сука,
Рыжих семерых щенят.

До вечера она их ласкала,
Причесывая языком,
И струился снежок подталый
Под теплым ее животом.

А вечером, когда куры
Обсиживают шесток,
Вышел хозяин хмурый,
Семерых всех поклат в мешок.

По сугробам она бежала,
Поспевая за ним бежать...
И так долго, долго дрожала
Воды незамерзшей гладь.

А когда чуть плелась обратно,
Слизывая пот с боков,
Показался ей месяц над хатой
Одним из ее щенков.

В синюю высь звонко
Глядела она, скуля,
А месяц скользил тонкий
И скрылся за холм в полях.

И глухо, как от подачи,
Когда бросят ей камень в смех,
Покатились глаза собачьи
Золотыми звездами в снег.

Что стоит, скажите мне, рядом с этой *trame de deuxième ordre* — громкоголосая, космическая ода Маяковского о Ленине, несмотря на то, что Ленин представляет собой явление несомненно более выдающееся, чем несчастная есенинская сука и семеро сукиных детей? Сколько социальных и моральных проблем, и весь многословный фатализм андреевской «Жизни Человека», уместилось в семи есенинских четверостишиях! «Песню о Собаке» нужно сохранить в ближайшем соседстве с «Шинелью» Гоголя.

С «Поэмой о Собаке» связано у меня еще одно воспоминание 19-го и 20-го года. Дело происходило в Московском Клубе Художников и Поэтов, украшенном контр-рельефами Георгия Якулова. Есенин читал стихи. Маяковский поднялся со стула и сказал:

— Какие же это стихи, Сергей? Рифма ребячья. Ты вот мою прослушай:

По волнам, играя, носится
С миноносцем миноносица

.....

Вдруг, прожектор, вздев на нос очки,
Впился в спину миноносочки.

.....

И чего это не сносен нам
Мир в семействе миноносином?

— Понял? — обратился Маяковский к Есенину.

— Понял, — ответил тот, — здорово, ловко, браво!

И тотчас, без предисловий, прочел, почти пропел, о собаке. Одобрение залы было триумфальным.

5

Мимоходом о собаках.

Виктор Шкловский, отметив (в книге о Павле Федотове), что при режиме Николая I писатели «писали больше о художниках, о художниках писал даже Гоголь», пояснял: «о художниках писали потому, что о другом писать было нельзя».

Поэтам советской эпохи, дававшим себе передышку от обязательств и хорошего тона идеологического служительства, приходилось искать подальше закоулков: они отдыхали на звериных сюжетах, зверям еще разрешалось безконтрольно исповедывать простые, внеклассовые, человеческие чувства. У Есенина есть еще «Собака Качалова», «Сукин Сын», и сколько других псов, собак и собаченок разбросано по его страницам; у Чуковского — «Крокодил», у Маяковского «Хорошее отношение к лошадям», у Вадима Шершеневича — «Лошадь, как лошадь»... Впрочем, Шершеневич возвращался и к собакам:

Судьба мне: у каждой тумбы
Остановиться, чтобы ногу поднять.

Не помню, Шершеневич или Мариенгоф советовал:

Если хочешь, поэт, жениться,
Так женись на овце в хлеву...

В 1920-м году, сразу после занятия Ростова-на-Дону конницей Буденного, воспетой Исааком Бабелем, я приехал в этот город и, в первый же день, встретил там Есенина. Где? Конечно в трактире. Зачем, почему он оказался в Ростове? — не помню. Мы снова провели пьяную ночь.

— В горы! Хочу в горы! — кричал Есенин, — вершин! Грузиночек! Курочек! Цыплят!... Айда, сволочь, в горы?!

«Сволочь» — это обращалось ко мне.

Но, вместо того, чтобы собираться на вокзал, Есенин стучал кулаком по столу:

— Товарищ лакей! Пробку!!

Пробкой называлась бутылка вина, так как в живых оставалась только пробка: вино выпивалось, бутылка билась вдребезги.

— Я памятник себе воздвиг из пробок,
Из пробок вылаканных вин!...

нет, не памятник: пирамиду!

И, повернувшись ко мне:

— Ты уверен, что у твоего Горация говорилось о пирамидах? Ведь, при Горации пирамид, по моему, еще не было?

Дальше начинался матерный период. Виртуозной скороговоркой Есенин выругивал без запинок Малый матерный Загиб Петра Великого (37 слов), с его диковинным «ежом косматым, против шерсти волосатым», и Большой Загиб, состоявший из двух сот шестидесяти слов. Малый Загиб я, кажется, могу еще восстановить. Большой Загиб, кроме Есенина, знал только мой друг, «советский граф» и специалист по Петру Великому, Алексей Толстой.

.....

Через три дня я возвращался в Москву. Есенин дал мне для кого-то в Москве «важное» письмо: в исполнительность почты он в то время, с некоторым основанием, не верил. Ехать до Москвы пришлось 4 дня. Поезд раз 10 менял направление. Под Матвеевым Курганом или возле Чаплино (не оттуда ли родом Чаплин?) была обещана веселая встреча то-ли с Махно, то-ли с Тютюнником. Выше, пассажирам пришлось почему-то пройти пешком верст 20, в то время, как поезд, при приглашенных огнях, промчался мимо по рельсам... Короче говоря, пись-

мо я потерял по дороге. Есенин, по возвращении в Москву, о нем тоже забыл: тогда начинался Дунканский загиб. Боюсь, однако, что на том свете вспомнит и, если характер его не изменился, он непременно набьет мне морду.

7

Захваченная коммунистической идеологией Айседора Дункан приехала, в 1921-м году, в Москву. Малиново-волосая, беспутная и печальная, чистая в мыслях, великодушная сердцем, осмеянная и загрязненная кутилами всех частей света и прозванная «Дунькой» в Москве, она открыла школу пластики для пролетарских детей в отведенном ей на Пречистенке безхозном особняке балерины Балашевой, покинувшей Россию.

Прикрытая легким плащом, сверкая пунцовым лаком ногтей на ногах, Дункан раскрывает объятия навстречу своим ученицам: ребятишки в косичках и стриженные под гребенку, в драненьких платьицах, в мятых тряпочках, с веснушками на переносице, с пугливым удивлением в глазах. Голова Дункан наклонена к плечу, легкая улыбка светит материнской нежностью. Тихим голосом Дункан говорит по-английски:

— Дети, я не собираюсь учить вас танцам: вы будете танцевать, когда захотите, те танцы, которые подскажет вам ваше желание. Я просто хочу научить вас летать, как птицы, гнуться, как юные деревца под ветром, радоваться, как радуется майское утро, бабочка, лягушенок в росе, дышать свободно, как облака, прыгать легко и бесшумно, как серая кошка... Переведите, — обращается Дункан к переводчику и политруку школы, товарищу Грудскому.

— Детки, — переводит Грудский, — Товарищ Изадора вовсе не собирается обучать вас танцам, потому что танцульки являются пережитком гниющей Европы. Товарищ Изадора научит вас махать руками, как птицы, ластиться вроде кошки, прыгать по лягушинуму, то-есть, в общем и целом, подражать жестикуляции зверей...

.....

Дело не в этом. С Есениным, Мариенгофом, Шершеневичем и Кусиковым, я часто проводил оргийные ночи в особняке Дункан, ставшей штаб-квартирой имажинизма. Снабжение продовольствием и вином шло непосредственно из Кремля. Дункан пленилась Есениным, что совершенно естественно: не только Настя считала его «красавчиком». Роман был ураганный и столь же короткий, как и коммунистический идеализм Дункан.

«Братья-писатели, в вашей судьбе
Что-то лежит роковое».

Эти, столько раз проиронизированные Некрасовские слова приобрели теперь подчеркнутую убедительность. В особенности по отношению к поэтам.

Гумилев был расстрелян.

Пяст, мой гимназический товарищ и самый книжный поэт (его родители, Пястовские, держали в Петербурге библиотеку в доме Мурузи) повесился.

Есенин вскрыл вены и повесился.

Маяковский застрелился.

Цветаева тоже.

Осип Мандельштам... впрочем, подробности его гибели еще не проверены.

Хлебников помер бродягой, с голоду, брошенный всеми.

Что стало с Сергеем Третьяковым?

Как кончил Клюев?

Раиса Блох, Михаил Горлин, Юрий Мандельштам, Юрий Фельзен погибли в нацистских лагерях.

Справедлива ли преждевременная смерть Ирины Кнорринг и Бориса Поплавского?

Маяковский писал: «Слово — полководец человеческой силы». Эта страшная армия привела к самоубийству и к гибели наиболее блестящих своих полководцев.

Маяковский писал на смерть Есенина:

Вы ушли,	Вы в своем уме-ли?
как говорится,	Дать,
в мир иной.	чтоб щеки
Пустота...	заливал
Летите,	смертельный мел?
в звезды врезываясь.	Вы ж
Ни тебе аванса,	такое загигать умели,
ни пивной,	что другой
Трезвость...	на свете
Прекратите,	не умел...
бросьте!	

И дальше, перефразируя последние, написанные Есениным, строки:

В этой жизни умирать не ново,
Но и жить, конечно, не новей, —

Маяковский добавил:

Для веселия	у грядущих дней.
планета наша	В этой жизни
мало оборудована.	помереть не трудно,
Надо	Сделать жизнь
вырвать	значительно трудней.
радость	

Написав это в 1926 году, Маяковский наложил на себя руки в 1930-м. Слава Есенина в России, за этот промежуток времени, росла не по дням, а по часам — наперекор официальному отлучению. Шутить над его поэзией становилось для Маяковского всё опаснее. В предчувствии собственной гибели (громадный талант, Маяковский затосковал о себе, как о поэте), он, в 30-м году, не сдержался и в одном из своих стихотворных завещаний поставил точку над і:

Я приду
в коммунистическое далекó
не так,
как песенно-есененный провитязь.
Мой стих дойдет
через хребты веков
и через головы
поэтов и правительств.

Через головы правительств, это возможно и даже несомненно; головы правительств нас не интересуют. Но через головы поэтов, таких, как Есенин, — здесь, в своем коммунистическом эгоцентризме (если такой филологический парадокс возможен), Маяковский, славный, но чрезмерно душимый ревностью, парень, — повидимому, ошибся.

Как это ни странно, гиперболизированные темы (я говорю лишь о темах) Маяковского звучат сегодня, как злободневная хроника, давно утратившая злободневность. Пример: написанное в 1926-м году стихотворение «Товарищу Нетте, пароходу и человеку» потребовало, всего через 10 лет, и в советском же издании, следующей пояснительной сноски: «Теодор Нетте — наш дипкурьер, героически погибший, защищая диппочту от

покушения контрразведчиков. Его именем назван один из пароходов Черноморского флота».

А простейшая лирика Есенина поет полным голосом. «Грандиозное» мелькает до временного, а пустяковое пахнет вечностью.

10

Среди перечисленных смертей, одна из самых страшных — смерть Есенина. Не только потому, что его самоубийство было самоубийством в квадрате: висельник, залитый кровью, это уж слишком. Но потому, что из этой плеяды он был моложе почти всех и даровитее. Трудно поверить, чтобы, приняв последнее решение, Есенин чувствовал, что, как поэт, он был закончен. Впрочем, возможно, что здесь скрывается еще недоступный нам закон. Рафаэль, умерший в 37 лет, или Пушкин, погибший одним годом старше, успели достигнуть наивысшего мастерства, в то время, как Тициан, доживший до ста лет, создал наиболее совершенные произведения в девяностолетнем возрасте.

11

Со смерти Есенина прошло 28 лет.

Первая жена Есенина, артистка Зинаида Райх, вышедшая потом замуж за Мейерхольда, была зарезана через день после его ареста: на ее теле было обнаружено 17 ножевых ран. Месть анонимной «человечьей силы» (имена убийц остались неизвестными).

Айседора Дункан вскоре также нашла смерть, пав жертвой таинственной предопределенности. Давно, в ее молодые годы, автомобиль, везший двух ее малолетних детей, пробил решетку одного из парижских мостов и утонул в Сене. В 1926-м году, в Париже, я ужинал у одной американской собирательницы картин. Среди приглашенных была Дункан. Она много говорила со мной о Москве, о Петербурге, но не обмолвилась ни словом о Есенине. Ночью, когда, прощаясь, я последний раз в жизни целовал ей руку, Дункан предложила мне, чтобы ее шофер отвез меня до дому. Пересекая Ситэ, мы столкнулись на полном ходу с грузовиком, везшим зелень в Центральный Рынок. Автомобиль Дункан был разбит и скомкан. Шофер и я чудом выскреблись невредимыми на свежий огород, внезапно выросший на мостовой. Еще через год, Дункан сама погибла в автомобиле, задушенная собственным шарфом, конец которого втянулся ветром в колесо.

Мой куоккальский дом, где Есенин провел ночь нашей первой встречи, постигла несколько позже та же участь. В 1918-м году, после бегства Красной гвардии из Финляндии, я пробрался в Куоккала (это еще было возможно), чтобы взглянуть на мой дом. Была зима. В горностаевой снеговой пышности торчал на его месте жалкий урод — бревенчатый сруб с развороченной крышей, с выбитыми окнами, с черными дырами вместо дверей. Обледенелые горы человеческих испражнений покрывали пол...

.....

.....

Во время последней финско-советской войны (когда «широкие круги национально-мыслящей русской эмиграции» неожиданно стали на сторону советов, неожиданно приняв советский интернационал за российский национализм) я, в Париже, каждым утром следил по карте Финляндии за наступательным движением советской «освободительной» армии. И вот, пришла весть о том, что Куоккала «отошла к Советам». В то утро я был освобожден от тяжести хозяйственных забот, давно уже ставших платоническими. Руины моего дома и полутордесятинный парк с лужайками, где седобородый Короленко засветил однажды, в Рождественскую ночь, окутанную снегом елку; где гимназистом, я носился в «горелки» с Максимом Горьким и моей ручной галкой Матрешкой; где я играл в крокет с Маяковским; где грызся о судьбах искусства с фантастическим военным доктором и живописцем Николаем Кульбиным; где русская литература творила и отдыхала, — исчезли для меня навсегда, как слизанные коровьим языком. Вырастет-ли когда-нибудь на этом пустыре столбик с памятной дощечкой, на который вряд ли смогут уместиться все имена?

Мелочи. Обрывки бесполезной сентиментальности.

Как бы то ни было, со смерти Есенина утекло уже 28 лет, а мы, теперь вдвое старше, чем он, всё еще на земле...

И всё еще увлекаемся девушками.

I

Кланяюсь я Вам от Ваших белых лиц и до сырой земли, желаю я Вам наилучших всех благ в делах нежных рук Ваших.

Так, по былинному, начинается огромное двадцати-двух страничное послание, полученное мною в мою бытность заведующим отделом русского радио-вещания В.В.С. в Лондоне. Получено оно было мной в начале марта 1953 г., несколько дней после смерти Сталина, но закончено писанием и отправлено 2 марта, т. е. до того, как в Москве было объявлено о смертельной болезни Сталина.

Я упоминаю эти даты, потому что автор письма — человек обуруаемый одной единственной страстью — маниакальной ненавистью к Сталину, именно к Сталину, а не к советскому строю в целом. И замечательно, что эта ненависть достигла своей точки кипения как раз в те дни, когда Сталин стоял накануне апоплектического удара, положившего конец его земному существованию. И как знать? Может быть, в тех сферах, где душевные и духовные деяния имеют гораздо больший удельный вес, чем скудные эмпирические поступки, ненависть полуграмотного русского мужика, волею судеб закинутого в скандинавское захолустье, ускорила ход событий.

Письмо захватило меня не только своим содержанием, но и своим стилистическим обликом. Его слог — своеобразная помесь былинного склада и зощенковского жаргона. Автор письма пересыпает свою речь поговорками и прибаутками — иногда поразительно меткими, иногда совершенно нелепыми. Но форма целиком подчинена содержанию — идее, что автор, «мужичок с ноготок», как он сам себя называет, избран судьбой для того, чтобы освободить мир от «бегемота», Сталина. С клинической точки зрения, автор — несомненно ненормален. Но, как в гаршинском «Красном цветке», реальность той чисто духовной борьбы против космического зла, которую он ведет, не ущербляется его ненормальностью. И в этом смысле, письмо — человеческий документ огромной силы.

В тех отрывках, которые я привожу ниже, я изменил только знаки препинания и, в большинстве случаев, орфографию, но сохранил стиль.

Пущено сие письмо в 1953 г.
2-го марта.

Во первых строках моего письма я спешу Вас уведомить о том, что я — Александр Михайлович Г., бывший советский рядовой колхозник, малограмотный кубанский казак. Во-вторых, я прошу Вас, не почтите за великий труд, примите лично от меня всенижающий, чистосердечный, горячий и дорогой привет. Радио Бибиси! Посылаю я Вам горячую, высокопламенную и дорогую благодарность за Ваши радиопередачи на русском языке. Вы первые мне очень хорошо помогли по содействию всемирного стратегического плана, как обезопасить весь мир от сталинской жестокой тирании.

Еще посылаю много-национальным¹ радио-станциям всенижающий, чистосердечный, горячий и дорогой привет. Кланяюсь я Вам всем от Ваших белых лиц и до сырой земли, желаю я Вам наилучших благ в делах нежных рук Ваших, радостного и счастливого успеха, и рад бы я Вас всех видеть и с Вами лично говорить. Я Вас всех благодарю за Ваши театральные и церковные пения, а также за Ваши музыкальные красивые мелодии. Как говорится: «Не славится красавица, а что кому понравится».

Автор жалуется на глушение заграничных радио-передач советскими глушителями:

Все театральные пения и музыкальные мелодии мне очень понравились. Только одна безмелодная музыка мне не понравилась. Но там чорт ладу не спрашивает — ему абы шум был. Какая власть, такая должна быть и снасть. Но в скором времени будет для нас хорошая власть, и будет хорошая снасть.

А что касается глушения, то эта безмелодная музыка только что на нервы играет всему народу. Радио-глушение первое время вероятно сам Сталин, как орган, рукой крутил, а потом применил технику. Даже слышно было, как билися стыки ремня по шкилу.

После этого введения автор переходит к своей основной теме — своему духовному единоборству со Сталиным. Интересны с формальной стороны литературные реминисценции. Образ «бегемота», может быть навеян Библией, но связан в

¹ Т. е., другим радио-станциям, вещающим на иностранных языках.

первую очередь с двоестием Корнея Чуковского: «Да, не легкая работа тащить бегемота из болота». Кроме того, в нижеприведенном отрывке попадает образ из популярной в 20-е гг. песенки «Кирпичики».

Трудно тащить такого бегемота из болота. Время перво трудно было и мне, но потом, проработавши еще с год, по кирпичику и по винтику, я построил этот завод. Вы со Сталиным боретесь кровопролитной войной, а я с этим бегемотом борюсь заочно. Этот бегемот насылал на меня всякие болезни. Но пришло время, и я на него наслал еще лучше — как говорится, «невестке на отместку». Русская поговорка говорит: «Одерни его, пусть присядет, а то он расходился, как холодный самовар». В нейтральных зонах самолеты сбивает, в западных странах воздушные транспорты уничтожает, рыбные морские суда забирает. И еще лучше придумал: в западные страны насылать небывалые наводнения — так, как в Великобритании и в Голландии.

Но пришло время, и я его одернул. Он и сидит. Потерял все силы своей мудрости и не знает, что делать дальше. И начал свое кубло ломать. Почувствовал перед собой пропасть. Дошла от меня Господня молитва до Бога. А Бог — не Микишка: где вдарит, там и шишка.

Вот — пример напастей, которые насылал на автора «бегемот». Чтобы дать понять всю хитрость Сталина, автор сначала рассказывает сценку из своей молодости:

Бывало, в старое время, до революции — я был еще юношей — запрягу лошадок и поеду в степь за сеном или на другую полевую работу. Много едет подвод навстречу меня, и мне хочется подшутить над какимнибудь дядькой, а в особенности на какой бричке побольше девок сидит. Я пальцем ему под бричку указываю и крикну: «Дядька, смотри, шварень по душеке трет, и ось в колесе!» А дядька через драбину под бричку смотрит, а потом догадается, что я над ним подшутил, и тогда только кнутом на меня погрозит.

И вот, Сталин, это воплощение космического зла, мстит ему, пользуясь формами мальчишеских шалостей и облакаясь на этот раз в образ «дядьки»:

В настоящее время я живу в Норвегии. А норвежцы живут маленькими поселками, а многие домочки стоят в одиночке, в глубоких ярах, в зеленых кустах.

(Опять слог народного «сказа»!)

В настоящее время и я так живу — в глубоком яру и в зеленых кустах. Живу я сам себе один. Никто мне не мешает, и я никому не мешаю. Работаю я в своей квартире по сапожной специальности, зарабатываю для себя на кусок хлеба и слушаю радио, что делается во всем свете. Продуктовый магазин примерно от моей квартиры около двух километров. 3 февраля мне нужно было поехать в магазин купить для себя что необходимое — хлеба и табаку.

Дорога была бесснежная, хорошая. Я сел на вилисопед (sic!) и поехал. Сначала я ехал хорошо, а потом мой вилисопед всё тяжелее и тяжелее. Небольшой уклон, а мой вилисопед по инерции не катится. Я нажимаю педали, сколько сил есть у меня. Уже чуб мокрый, и рубашка у меня от пота мокрая. Проехал я до пол-пути и остановился. И смотрю, что за причина? Я рукой попробовал крутить переднее колесо, а колесо до полуоборота не обернулось и остановилось. Я увидел, что моего руля развилка трет покрывку резины. И тут я сразу догадался, что это дядька Сталин надо мною подшутил. Я вилисопед положил набок, сбок дороги, и пошел пешком, чтобы с вилисопедом мне не было замешки. А был хороший мороз и ветерок. Пока дошел до магазина, меня хорошо просквозило. Вернулся я с магазина, взял вилисопед, прикатил домой, всё исправил и в порядок поставил. Вечером заболела у меня голова, и насморк. На утро заложило мою грудь, и кашель.

Вот — сталинская шутка. Но шутки то — шутки, а хвост гнет набок. Дядька Сталин гнет меня в могилу, а сам хочет завладеть всем миром.

Но типерь я Сталину хвост согну набок, так как я хочу, но не так как Сталин хотит — всемирную кровь пролить... Я вполне надеюсь на свои силы. Не умеет Сталин с западными странами мирно жить, то я научу его. Не хочет, то я заставлю своей могучей рукой, наклоню Сталина до земли а заставлю.

Как говорится, «святым кулаком по окаянной шее». Мой кулак еще не грешный, я им еще никого не убил. Я его хранил, как зеница свое око (sic!).

И теперь начинается поразительное по своему духовному напряжению апокалиптическое видение конца Сталина:

На Тихом Океане, на морском судне, при отходе из порта, я сам, своей могучей рукой, наклоню Сталина и своим кулаком ударю его по окаянной шее так, что у него в глазах помутится и без крови. И тогда морское судно пойдет свободно подальше от берега не ближе, как на 30 километров, и там его в рогожу вкрутим хорошо, закуем ноги ему на веки вечные, прикуем ему тяжелые ко-

лесники до ног. Прочитает духовный священник заклатья ему, и тогда Сталина хвост я нагну с морского судна набок, и пойдет он, проклятый, на дно моря. Из моря он вышел, и в море он пойдет. Такого народного паразита нужно истереть с лица земли.

И тогда всех стран правительства поставлю лицом к массовой публике, и, испую так, как я умею, и насколько у меня голосу хватит, украинскую народную песнь: «Выпрягайте, хлопцы, коней, та лягайте почувати, а я пийду в сад зеленый криниченку копати».

И Вы сами сделайте всемирный конгресс мира и выпрягите Вашу всякую армию спод всякой аммуниции, ибо она Вам уже не нужна будет. Мы уже врагами не будем окружены. Один враг был, и тот сплыл — тот, который всему миру грозил опасностью. Весь мир будет жить на земле тихо, радостно, спокойно и счастливо. У нас уже не будет запретных границ. Кто куда хочет — езжай, развлекайся и наслаждайся природой. Я хорошо знаю, что у Вас останется денежный фонд — тот, который назначен на военные нужды. Он у Вас останется, как неделимый капитал. И Вы этот денежный фонд поверните на транспортные путешествия, чтобы Ваши Американские коммунисты поехали в Советский Союз и посмотрели, как Сталин построил радостную и счастливую жизнь.

А я хорошо знаю, как Сталин построил — семеро ворот, и все на огород. Плетни, заборы и сараи колхозники все поломали на дрова. Старое разрушено, а новое построить — нет материала, и никаких гвоздей нету. И когда Ваш бедный коммунист зайдет в колхозное село и посмотрит, то ему покажется, как будто он зашел после пожара в горелый дом, в обваленные стены. Это так построил Сталин радостную и счастливую жизнь.

А советские граждане приедут в западные страны посмотреть как рабочие и крестьяне живут под капиталистическим гнетом, посмотрят и скажут: «Что мы видим перед собою, как будто стоит перед нами блестящая со свечами новогодняя елка!»

Вы подумаете, что я Вам написал Крылова басни. Нет, я Вам написал от Господа Бога откровение. Небо и земля пройдут, а слова мои не пройдут.

К сему

Александр Михайлович Г.

Мы продолжаем печатать ответы иностранных писателей на нашу анкету, которая началась во Втором №. Напоминаем, что вопросы этой анкеты следующие:

Считаете ли вы, что русская классическая дореволюционная литература принесла с собой нечто новое, незнакомое Западному миру?

Если считаете, представляется ли вам воздействие таких писателей как Толстой и Достоевский благотворным, или, наоборот, разрушительным?

В настоящем номере мы даем, из полученных, всего три ответа — от немца, американца и англо-американца,

Немец это — Herman Hesse; он уроженец южной Германии (род. в 1877 г.); в молодости был книготорговцем; начал писать стихи и печататься 20-ти лет. Пять лет спустя, с выходом романов о молодежи и воспитании, у него уже был успех; первый роман назывался: Peter Camenzind, потом вышли Unterm Rad, Gertrud, Rosshalde и другие. Эти издания разошлись в сотнях тысячах; во время войны 1914-18 гг. он выступил против германского милитаризма и потому должен был эмигрировать в Швейцарию, где и живет с тех пор. В настоящее время он является крупнейшим представителем немецкого художественного творчества; во времена Гитлера его книги были запрещены в Германии; в 1946 г., после выхода его *Magister Ludi*, H. Hesse был награжден Нобелевской премией.

Его ответ следующий:

1. *Die Bekanntschaft mit der russischen Dichtung des neunzehnten Jahrhunderts war für den europäischen Westen ein grosses Ereignis. Für meine Person begann sie mit Turgenjew, von dem ich mehrere Werke in der wohlfeilen Reclam-Bibliothek schon im Alter von 16 Jahren zu lesen bekam. Heute sind meine Lieblinge in der russischen Dichtung Gogol, Tolstoi, Tschechow. Dostojewski, von dem ich zuerst sehr begeistert war, hat zwar mit den Karamasoffs bei mir standgehalten, mit der Mehrzahl der übrigen Werke aber nicht.*
2. *Der Einfluss der russischen Dichtung auf die des Westens war nach meinem Urteil ein segensreicher, überaus anregen-*

der und befruchtender, ähnlich etwa dem Einfluss der französischen Malerei auf die der Nachbarländer.*

*Перевод:

1. Знакомство с русским поэтическим творчеством XIX века было для европейского Запада крупным событием. Лично, мое знакомство началось с Тургенева — несколько его сочинений я прочел в дешевом издании Reclam-Bibliothek, когда мне было всего 16 лет. Сегодня мои любимые русские писатели — Гоголь, Толстой, Чехов. Достоевский, к которому я отнесся сначала с большим восхищением, правда, удержался во мне, благодаря Карамазовым, чего я не могу сказать о большинстве его других произведений.
2. Влияние русской литературы на творчество Запада было, по-моему, благодатным, очень стимулирующим, и плодотворным — несколько похожим на влияние французской живописи на соседние страны.

Американец это — Reinhold Niebuhr, пастор, ученый богослов и философ, уроженец штата Миссури (род. в 1892 г.). Автор очень многочисленных произведений на религиозные христианско-социальные темы. Среди них наиболее нашумевшие *Moral Man & Immoral Society* (1932), *The Nature & Destiny of Man* (1941-43) и др.; в настоящее время редактирует журналы «Христианство и Общество» и «Христианство и Кризис».

Его ответ:

1. *I do not think that pre-revolutionary classical Russian literature was sufficiently influential to create new trends in the Western World. Dostoyevsky had an indirect religious influence, which was I think on the whole to the good.*
2. *The question whether the influence was constructive or destructive, I think that one must make special reference to Tolstoy; his religious notions were not beneficial in the sense that they fed the illusions of our liberal period both among religious and secular people.**

*Перевод:

1. Я не думаю, что дореволюционная классическая русская литература была достаточно значительна, чтобы создать новое направление в Западном мире. Достоевский оказал косвенное религиозное влияние, которое я считаю в общем благоприятным.

-
2. На вопрос о том, было ли влияние созидательным или разрушительным, я считаю, что нужно сделать специальную ссылку на Толстого: — его религиозные представления были неблагоприятны в том смысле, что они питали иллюзии нашего либерального времени как среди религиозных, так и светских людей.

Англо-американец это — Wystan Hugh Auden, знаменитый поэт, и мы его национальность так назвали потому, что он, будучи родом из Англии (род. в 1907 г.), иммигрировал в США в 1939 году, и переменял свое британское подданство на американское гражданство. Окончив оксфордский университет, он был пять лет преподавателем в школе; в 1936 г. принял участие в санитарном отряде в гражданской войне в Испании на стороне левых. Он верующий христианин евкуменического настроения.

В своей поэтической деятельности W. H. Auden необыкновенно разнообразен и неожидан; он и сатирик, и лирик, и оратор, и драматург, и куплетист; он поражает богатством размеров, ритмов, ладов, рифм и формальной изысканностью; в языке — застрельщик и новатор, создатель неслыханных до него образцов совершенно новых сплавов прозо-поэтических речений, и несмотря на это, хотя он в жизни бунтарь и ненавистник современности, в поэтическом деле всё же Auden — человек традиций и порядка, канонизированных еще в XVIII-ом веке А. Роре-ом. И если поэт Томас Стэрн Элиот всё-еще считается первым и почти непогрешимым авторитетом в сегодняшних вопросах англо-саксонской просодии, то, Одэн, на два поколения моложе первого, ставится сейчас, спору нет, на много выше Элиота по дарованию, многообразию, и стихийной творческой игре.

С 1930 г., когда вышла его первая книга «Поэм», он выпустил большое число книг — все они широко читались. Последние вещи это «Age of Anxiety», «Nones», он же сотрудничал в создании либретто оперы И. Стравинского — «Жизнь распутника».

Его ответ:

The Great Russian prose writers of the Nineteenth Century (the poets are unknown to us) have, of course, been a revelation and an inspiration to the West. In the case of Tolstoy, this influence has been wholly good. Gogol has not exerted the influence which, I think, he should have. On the other hand, I fear that the influence of both Dostoievsky and Tchekov has not, on the whole, been a healthy one.

*Each was an idiosyncratic genius with a very peculiar vision of life. The western imitators of Dostoievsky have produced novels in which the characters are so lacking in will-power and self-respect that the reader does not care whether they live or die; imitation of Tchekov has resulted in plays, full of atmosphere, but lacking in dramatic tension so that they peter out after the second act.**

**Перевод:*

Великие русские писатели XIX века (поэты нам не известны) были, разумеется, откровением и источником вдохновения для Запада. Влияние Толстого было вполне благоприятным. Гоголь не оказал того влияния, какое, я думаю, он должен был бы иметь. С другой стороны я опасуюсь, что влияние обоих, — Достоевского и Чехова, было не совсем плодотворным.

Они — весьма своеобразные гении; каждый из них имел свое очень странное представление о жизни. Западные подражатели Достоевского создавали романы, в которых герои в такой мере лишены воли и достоинства, что читателю безразлично живут ли они или умирают; подражание Чехову выразилось в пьесах, хотя и полных настроения, однако, лишенных драматического напряжения, от чего они выдыхаются после второго акта. — P. G.

Б И Б Л И О Г Р А Ф И Я

НЕУДАЧНАЯ КНИГА О РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

MARC SLONIM. *Modern Russian Literature: From Chekhov to the Present*. New York: Oxford University Press, 1953. ix+467 pp.

Книга М. Л. Слонима представляет собой второй том исторического обзора русской литературы от ее зарождения до наших дней. Первый том, заканчивавшийся классическим периодом литературы XIX века (Тургенев, Достоевский, Толстой), вышел в 1950 г. под названием «The Epic of Russian Literature». Второй том, хотя подзаголовок его и говорит «От Чехова до настоящего времени», начинается с глав о народничестве, об Успенском, Гаршине и Салтыкове и о «романистах-почвенниках и дворянских поэтах» (сюда входят Мельников-Печерский, Мамин-Сибиряк, Лесков и такие поэты, как К. Р., Случевский, Апухтин и Фет) и заканчивается советской и зарубежной литературой наших дней.

От такого рода обзора, предназначенного к тому же для иностранцев и в первую очередь для студентов, изучающих русскую литературу в университетах США и Англии, требуется прежде всего надежность и точность сообщаемых в нем фактических сведений. Этому первому требованию книга Слонима, как это ни странно, до такой степени не удовлетворяет, что издателю можно было бы посоветовать временно изъять ее из продажи и выпустить в исправленном виде. Чтобы не быть голословным, приведу ряд примеров — читатель увидит сам, что диапазон ошибок и неточностей Слонима достаточно велик. Пермь, например, оказывается у него в Сибири (стр. 43); дело Бейлиса он относит к 1908 вместо 1913 г. (109); про столыпинскую земельную реформу говорится, что она «принуждала» крестьян выходить на хутора (159); о Сологубе сказано, что он скончался через *несколько месяцев* после самоубийства своей жены (99), тогда как на самом деле эти две смерти отделены промежутком в *пять лет*; на стр. 161 композитор Кюи (имени которого большинство иностранных читателей не узнает в написании Куи вместо Cui) преждевременно похоронен Слонимом еще до первой мировой войны; «Жизнь Арсеньева» и «Истоки дней» Бунина оказываются двумя разными вещами, из которых первая написана в 1927, а вто-

рая в 1933 г. (168); сюжет «Жизни Арсеньева», говорит Слоним, составляет «любовная история» (170); Андрею Белому приписан какой-то несуществующий «трактат» о Лермонтове (195); статья Кузмина о «прекрасной ясности» датирована 1912 вместо 1910 г. (212); про Игоря Северянина сказано, что с 1919 г. по свою смерть во время второй мировой войны он жил «в уединении и безвестности» в Эстонии (225), тогда как на самом деле он ездил и в Париж и в Белград, устраивал вечера стихов и выпустил несколько книг, к числу действовавших в 1922 г. в эмиграции писателей отнесены (224) Леонид Андреев и Вячеслав Иванов, тогда как первый умер еще в 1919 г., а второй в то время находился еще в Баку; а на стр. 398 Андреев опять упоминается, вместе с Савинковым, в числе тех, кто выступал в зарубежной литературе в *середине 20-х годов*; социалистический реализм оказывается каким-то образом одним из дореволюционных литературных течений, повлиявших на раннюю советскую литературу (246)¹; поэмы Маяковского «Человек» и «Война и мир» даны как «Человек и война» и «Мир» («Вселенная») (225) — впрочем, это, может быть, всего лишь опечатка, каковых в книге немало; Пугачев назван бунтовщиком *17-го века* (392), и в данном случае это не опечатка, ибо перед тем говорится о романе Чапыгина о Стеньке Разине, а затем о романе Вяч. Шишкова о Пугачеве, как о «*другом бунтовщике 17-го века*»; Иосиф Каллиников, автор полупорнографического романа «Мощи», отнесен к эмигрантским писателям (399), тогда как он проживал и писал в Советском Союзе; к зарубежным поэтам, выдвинувшимся в 30-ые годы, причислены попавшие за границу лишь во время второй мировой войны Д. Кленовский и Иван Елагин (404), и этот последний спутан с автором книги «Укрощение искусств» и назван Юрием. Ошибок в именах у Слонима вообще очень много, причем особенно не повезло зарубежным писателям: Николай Онуфриевич Лосский, которого Слоним должен был хорошо знать по Праге, стал Иваном (398), другой известный философ, Лев Платонович Карсавин — Александром (398), кн. Николай Сергеевич Трубецкой превратился в Сергея (405). Георгий Раевский стал Николаем (403), покойный Михаил Горлин — Семеном (404), Антонин Ладинский — Антоном. Но такие же ошибки попадают и в отношении дореволюционных деятелей (так, кн. Мещерский, редактор «Гражданина», из Владимира превратился в Василия, ком-

¹ Это место, как и некоторые другие, наводит на мысль, что книга Слонима или переводилась на английский язык или подверглась значительной переработке. Возможно, что здесь имелся в виду «социальный реализм».

позитор Танеев из Сергея в Александра), а также и советских писателей: Доронин из Ивана стал Алексеем, Лившиц из Бенедикта — Владимиром (правда, есть сейчас в советской литературе и Владимир Лившиц, но у Слонима речь идет о дореволюционном поэте-футуристе), Грибачев из Николая Степаном (очевидно, по созвучию со Шипачевым), Корнилов из Бориса — Александром, Лелевич из Лабория — Львом, а Шильдкрет из Константина — Александром.

Попадают также довольно фантастические переводы названий произведений (еще в первом томе своего труда Слоним по одному ему — а может быть и его американскому сотруднику, г-ну Guerneу — ведомым соображениям переименовывал на свой лад общепринятые и вполне приемлемые английские эквиваленты классических произведений русской литературы). Весьма капризна и непоследовательна также транскрипция русских имен, что в книге, предназначенной для академических нужд, является большим минусом.

Таковы существенные фактические и внешние недочеты книги. Не лучше обстоит дело и с некоторыми суждениями автора. Я не говорю о несколько одностороннем нарисованном общественно-политическом фоне дореволюционной литературы (см., например, стр. 158-159) или о таких голословных и неоправданных утверждениях, как то, что ключа к пониманию торжества большевиков в 1917 г. надо искать в событиях 1905 г. и последовавшей затем реакции, или что в 1917-18 г. массы были политически и социально «более передовыми», чем внедрявшая в них годами социализм интеллигенция. Странными представляются и многие чисто литературные суждения, вроде утверждения об исключительном чувстве слова у Бальмонта (93) или о том, что пьесы Чехова проникнуты бодрим ожиданием великих событий (162), или что для Бунина нет ни Бога ни дьявола (171). О стиле Бунина сказано еще более странно: «Бунинским фразам присущ ритмический строй тургеневских и чеховских, но (?) язык его крайне простой и разговорный» (169). Вообще от главы о Бунине, при всех содержащихся в ней лестных отzyзах, веет холодком: автор явно предпочитает ему и Горького и Алексея Н. Толстого. Между тем мне думается, что потомство едва ли не поставит Бунина как прозаика даже выше Чехова.

Особенно много спорных утверждений в главах о советской литературе — в плане как политическом, так и литературном. Слоним слишком доверяет советской статистике и без всяких оговорок выводит наивные заключения из приводимых им данных о советских тиражах. Очень смело звучит на стр. 347 утверждение о «мистике» первой пятилетки и о том, что тысячи и тысячи не-коммунистов способствовали ее успеху, ибо одобряли ее «по патриотическим и ути-

литарным основаниям». Едва ли не преувеличивает автор «сплоченность» населения и ту атмосферу «действенности, оптимизма и национальной гордости», которая якобы характеризовала начало 30-х годов (349). Правильно характеризуя далее (на стр. 380-382) основные черты т. н. «эры стабилизации» (вторая половина 30-х годов), Слоним приходит, однако, к выводу, что «в общем консолидация советской власти привела к устранению многих напряженных моментов, конфликтов и трений между населением и режимом» и что «стабилизация государства, партии и общества сопровождалась подлинной культурной экспансией». Этот вывод, находящийся в противоречии с некоторыми приводимыми самим автором фактами, подкрепляется между прочим ссылкой на то, что накануне нападения Гитлера Советский Союз стоял на первом месте в Европе по книгопечатанию: 36.000 названий с общим тиражем в 750 миллионов экземпляров — как будто такого рода цифры, даже если они верны, доказывают «культурную экспансию»! Далее мы читаем упреки по адресу западноевропейских критиков советской литературы (389), которые, мол, часто приписывают то, чего не понимают или что им не нравится, коммунистическим концепциям и утверждениям, тогда как на самом деле «многие коммунистические лозунги... задевали ответные струны в русских сердцах и отвечали... чертам национального характера».

Слоним, конечно, очень хорошо видит и понимает всё зло «ждановщины» и отдает себе отчет в том, как низко пала сейчас зажатая в тоталитарные тиски советская литература. Но вместе с тем он до сих пор преувеличивает «ослабления», сделанные на культурном фронте во время войны, и дает по меньшей мере двусмысленное объяснение ждановщины, когда пишет (стр. 425-426): «Русская победа положила конец либеральному отношению коммунистической партии к литературе. Новый сдвиг вскоре обозначился на часто меняющейся советской литературной сцене. Причины этого сдвига были те же, которые определили позицию СССР в послевоенных международных отношениях. Вместо того, чтобы начать собой период мира и разрядить атмосферу, крушение Германии повело к обострению напряжения между бывшими союзниками, и когда это напряжение выродилось в холодную войну, которая заключала в себе семена открытого конфликта между Советским Союзом и Соединенными Штатами, в России протрубили идеологическую тревогу (*state-of-alert*); вслед за этим последовала психологическая подготовка ко всяким неожиданностям, а это включало более строгий контроль и культурный изоляционизм». Не говоря о том, что о «либеральном» отношении партии к литературе во время войны можно говорить лишь с очень большой натяжкой и что во всяком случае конец

ему был положен задолго до победы над Германией (история с «Перед восходом солнца» Зошенко в 1943 году, разнос, учиненный тогда же Федину за его воспоминания о Горьком), из вышеприведенных слов Слонима вытекает, что «культурный изоляционизм» (какое деликатное определение ждановщины!) был ответом на обострение напряжения и холодную войну, а в «обострении напряжения», очевидно, были виноваты обе стороны.

На протяжении почти всей своей книги Слоним старается установить законную преемственность между русской литературой 19-го века и советской литературой. Такие попытки делаются иногда и в Советской России, но официально они рассматриваются там как ересь. Ересь эта носит название теории «единого потока». Но и самые правоторные советские критики и историки литературы до некторой степени склонны впадать в эту ересь, поскольку они великую русскую литературу (и культуру вообще) пробуют причесать под советскую гребенку. Слоним, разумеется, в таком причесывании неповинен. Но ему, для его теории «единого потока», приходится отводить центральное место в русской литературе за последние 70 лет Горькому, в котором он видит соединительное звено между литературой дореволюционной и советской. В связи с этим он сильно преувеличивает и значение Горького и его влияние на советских писателей. (Другим таким звеном Слониму представляется, очевидно, Алексей Н. Толстой, которому он воздает больше похвал, чем какому-либо другому советскому писателю).

Из той же теории «единого потока» вытекает, повидимому, и пренебрежительное отношение Слонима к зарубежной литературе. Пренебрежение это выразилось уже в том, что зарубежную литературу автор не счел даже нужным выделить в особую главу. Он уделил ей всего 11 страничек в главе, озаглавленной «Эра стабилизации», где речь идет о советской литературе между 1932 г. и войной². О многочисленных ошибках в именах писателей, которые автор умудрился допустить на этих одиннадцати страничках, уже было сказано выше. Надо сказать прямо: лучше бы он вообще этой

² Справедливость требует оговорить, что зарубежная литературная деятельность таких писателей, как Бунин, Ремизов, Зайцев, Шмелев, Куприн, Мережковский, упоминается в соответствующих главах о дореволюционном периоде, но говорится там о ней мало и скорей пренебрежительно. Да и самый этот прием как бы используется для того, чтобы «обеднить» зарубежную литературу. В обзоре последней мы находим лишь несколько слов о Бунине и Ремизове, другие писатели-прозаики просто перечислены в общем каталоге имен.

подглавки о зарубежной литературе не включал в книгу, ибо иностранцу, который о литературе эмиграции знает гораздо меньше, чем о советской, эти одиннадцать страниц, на которых перечислено около 75 имен, почти ничего не дадут, а большинство эмигрантских читателей они раздражат. Правда, в конце своего «обзора» зарубежной литературы Слоним говорит, что время для оценки этой литературы в целом еще не пришло, но одно ему кажется «очевидным»: эта литература не дала ни сколько-нибудь значительных индивидуальных талантов, ни какого-нибудь свежего направления или школы. Зарубежные писатели «завершили одну главу русской жизни и художественного развития», но они не открыли новой главы и «указуют только в прошлое». Их роль в «развитии родной литературы» была до сих пор, по словам Слонима, «почти ничтожной». Значение зарубежной литературы Слоним видит только в том, что она приблизила Россию к Западу: «Эмигранты вообще, и писатели среди них в частности, служили послами русской культуры, они распространяли представление о ее достижениях и много способствовали пониманию своей родины». Почему-то эта роль эмиграции представляется Слониму «парадоксальной». Но дело не в этих общих суждениях и не в оценке отдельных зарубежных писателей (сколько-нибудь подробно Слоним отзывается только об Алданове и Набокове-Сирине, и эти два отзыва, занимающие вместе полторы странички, мало кого удовлетворяют — говорить, например, про Набокова, что для него, как и для большинства зарубежных писателей, характерна эмигрантская ностальгия, значит судить только по его ранним, незрелым вещам; большинство остальных имен дано в форме простого каталога или с характеристикой в одну-две фразы). Дело в непропорциональности этой главы по отношению к другим частям книги (не только к обзору советской литературы, но и к тому вниманию, которое уделено второстепенным народническим писателям XIX века). Дело также в нарочито пренебрежительном отношении к литературе Зарубежья, выразившемся в минимуме уделенного ей места, в ошибках, во всем тоне, в пропуске ряда существенных имен (так, не упомянуты вовсе покойные Г. П. Федотов, П. А. Бицилли, Г. А. Ландау, А. Л. Бем, а из ныне здравствующих В. В. Вейдле и Ф. А. Степун, хотя некоторые другие философы, публицисты и критики и названы). О вкладе эмиграции в науку и культуру вообще сказано мало и глухо. Не назван ни один эмигрантский журнал. Во всем этом чувствуется прямое намерение «принизить» зарубежную литературу. Автор может сослаться на связанность местом, но такое оправдание будет неубедительно, если принять во внимание сколько, например, маловажных явлений и писателей советской литературы затронуто автором.

Читатель может спросить после всего этого, есть ли что-нибудь хорошее, положительное в книге Слонима. Да, конечно, есть, но оно обесценивается указанными выше, слишком уж существенными недостатками. Те главы книги Слонима, к которым нельзя предъявить конкретных обвинений, не отличаются однако ни оригинальностью суждений, ни особенным богатством фактического материала по сравнению с прекрасной английской книгой о русской литературе Д. П. Святополк-Мирского. Ни для академических ни для иных целей книга Слонима этой книги не заменит.

Глеб Струве

А. А. БОГОЛЕПОВ. Русская лирика от Жуковского до Бунина.
Изд-во Имени Чехова. Нью-Йорк. 1952.

Сравнивая эту антологию с той, гораздо более краткой, которую Святополк-Мирский выпустил в Париже больше тридцати лет тому назад, будущий историк нашей словесности едва ли избегнет вывода, что литературный вкус и способность критической оценки, за эти годы, претерпели в эмиграции не менее резкое падение, чем в России. Верен ли будет этот вывод, судить не берусь; но счесть совсем ничего не значущим тот факт, что издательство, преследующее не коммерческие, а культурные цели, почтило теперь прошлое нашей поэзии именно этой книгой, а не какой-либо другой, всё-таки довольно трудно.

Около трети помещенных в ней стихов можно было бы выделить в особый, по-своему даже и любопытный сборник, где нашли бы себе место Бенедиктов, Огарев, Никитин, Суриков, Добролюбов, К. Р., Голенищев-Кутузов, Плещеев, Апухтин, Надсон, Фруг, Ратгауз, Федоров, Фофанов, Минский, Щепкина-Куперник, Чюмина, Лохвицкая и другие авторы, в разное время, по причинам отчасти «гражданственным», отчасти же еще более грустным, почитавшиеся у нас поэтами, — вплоть до Мушкетейна-Лоло, ни в какое время не почитавшегося таковым, но которому г. Боголепов всё же отдал предпочтение перед Ходасевичем и Мандельштамом, в его антологию не включенным, хотя она и доведена, вопреки заглавию, не до Бунина, а до Ахматовой и Цветаевой. Остальные две трети нашу поэзию не бесчестят, но выбор стихотворений, если не имен, и тут, поскольку не следует хрестоматийному шаблону, подтверждает лишний раз, что для составителя никакой особенной пропасти не существует между такими образцами русской лирики, как «Последняя любовь», «Для берегов отчизны дальней», «Ночь, улица, фонарь, аптека» и такими, как «Красота в упоительных грезах» или «Милый друг, я умираю, оттого, что был я честен». Не стану останавливаться на частности. (Почему Цветаева представлена всего двумя стихотворениями, 1916

года? Почему отсутствуют как раз те два стихотворения Случевского, которыми оправдываются все шесть томов его многословного стихоплетства?) Самый замысел сборника свидетельствует о полной некомпетентности того, кто его задумал.

Если уж начинать антологию с Жуковского, что предполагает решимость пожертвовать одним из немногих истинно великих наших поэтов, Державиным, то надо положить ей границей девятнадцатый век и, значит, не вести ее дальше Соловьева. Буниным в нашей поэзии, если что-нибудь кончается, то это период ее предшествующий символизму, но г. Боголепов, как мы уже видели, вовсе и не обрывает свою книгу на Бунине; он включает в нее символистов и ведет ее до того поколения, к которому принадлежат, кроме Гумилева, Ахматовой, Цветаевой, и забытых им Ходасевича и Мандельштама, еще и Пастернак, Маяковский, Есенин, которых тоже у него нет. Среди поэтов постарше (хоть и моложе Бунина) отсутствует Кузмин, да и ряд других стихотворцев, во всяком случае более интересных, чем Скиталец или Любовь Столица. Но смена литературных поколений, как и хронологическая последовательность в пределах индивидуального творчества, г. Боголепова не интересует; о значении того и другого он, видимо, не имеет ни малейшего понятия. Поэтов он обещает нам в своем сборнике располагать «по основным эпохам их деятельности». Но почему же основная эпоха деятельности Бунина (как поэта) относится к более позднему времени, чем такая же эпоха в творчестве Цветаевой или Ахматовой? Нужно ли нам и в самом деле верить, что Зинаида Гиппиус пережила свой стихотворческий расцвет раньше, чем Случевский и Голицишев-Кутузов? И зачем понадобилось затемнять линию развития Боратынского и Тютчева, столь важную для их поэзии, заканчивая выбор из одного двумя стихотворениями, написанными до «Сумерек», а выбор из другого стихами на смерть Пушкина?

Всё это, впрочем, праздные вопросы, раз приходится задавать их человеку, которому несколько не кажется смешным хвалить Пушкина за то, что он оставался «правдивым, по отношению к действительности и убедительным по отношению к читателю», сообщать нам (по поводу Аполлона Григорьева) о каком-то «навеянном Гегелем развитии человеческого духа» и говорить о Вячеславе Иванове, что он «решительно стал на точку зрения традиционной веры, полагая, что без веры в Бога человечество не может найти утерянной свежести». Ясно одно: при столь малом умении мыслить и писать, лучше не браться за составление антологий.

Но остается другой вопрос, уже не к составителю обращенный: зачем было его книгу издавать?

В. В.

СОФИЯ ПРЕГЕЛЬ. «Берега». Изд. «Новоселье», Париж, 1953 г.

София Прегель собрала в своей новой книге «Берега» стихотворения, начиная от военных лет по последние годы. В книге 109 страниц текста — редкая возможность для поэта представить так полно определенный период своего творчества. Мы знакомимся обычно с произведениями наших поэтов по тоненьким книжечкам, по нескольким (в лучшем случае) отдельным стихотворениям, напечатанным в каком-нибудь журнале. Книга же, особенно такая, в которой поэт может представить себя полно, позволяет нам не только ознакомиться с его новыми стихами, с его формальной работой, но также увидеть его лицо, узнать его волю, его направленность, а это — самое главное.

«Самое главное» Софии Прегель — ее обращенность к событиям, к жизни, к людям, переживающим эти события, в выявлении своего отношения к ним. Если вспомнить разговоры последних лет о необходимости для поэтов считаться с тем, что происходит вокруг, а не только со своими личными переживаниями, С. Прегель — один из тех немногих у нас поэтов, который не побоялся спуститься с «башни из слоновой кости» в современный мир и разделить его противоречия, его боль и его страдания.

Россия, русское прошлое — далекое или недавнее, страшные события последней войны и самое трагическое в них — предельное уничтожение человеческого достоинства, то, чего никогда нельзя забыть, — дети, гибнущие во имя расовой ненависти, люди всех народов — во Франции, в Испании, в Америке, Жанна д'Арк, бретонские моряки, мальчик из Гарлема, стихи о Лермонтове, — и т. д. — тематическое разнообразие, от которого мы даже отвыкли за годы господства «парижской школы».

С. Прегель — поэт с большим творческим темпераментом, с неистощимой энергией, самый тон ее стихов яркий и выразительный.

В смысле образов и сравнений, С. Прегель не боится неожиданных сочетаний, у нее всегда своя особая манера видеть: «С большой широкополой шляпы стекали пенные лучи», «девочка с испуганной косичкой», «завернутая в песок, капля прыгает по аллее», «скатерти крахмальная стена», и т. п.

София Прегель не то что забывает о себе, о своей внутренней жизни, сосредотачивая внимание на окружающем, она скорее настолько полна этими переживаниями, что сливается с ними, общее становится ее личным, — поэтому ее «экстраверсированные» сюжеты, например, хотя бы та же «Жанна д'Арк», «Весна в Париже», «Эта Америка» и другие — в то же время очень личны. В каждом пейзаже, в человеке, в каждом событии — С. Прегель не пассивный созерцатель, не изобразитель, смотрящий извне, а человек, пережи-

вающий всё это изнутри и немедленно на всё отзывающийся — приятием или неприятием, согласием или возмущением, сочувствием или иронией и гневом. Поэтому человечность — одна из характерных особенностей поэзии С. Прегель. Человек всегда в центре ее внимания. Поэтому ей и удается передавать с такой убедительностью трагизм современной жизни, страдания современного человека, лишенного сочувствия и внимания к нему. Как пример, процитирую в заключение одно из таких стихотворений, которые задевают нас, запоминаются навсегда, именно благодаря своей простоте, подлинности и концентрации чувства:

У фонарей, у беспокойных лун,
У городской начищенной аллеи
Он продает билеты лотереи,
Ребенок нищий, маленький горбун.

Трусливо-угловат и нелюдим,
В тени стволов он бродит, оглушенный,
Ночных деревьев стройные колонны
Сурово издеваются над ним.

Но на ходу, в туманном сне своем,
Он видит, как восток струится ранний,
Как в горсточку ладони обезьянней
Монеты звонким сыпятся дождем.

Ю. Терапиано

А. И. ДЕНИКИН. «Путь Русского Офицера». Издательство имени Чехова, Нью-Йорк. 1953.

«Путь Русского Офицера» — это воспоминания Генерала А. И. Деникина. Далекое прошлое, родители, детство, школа, преподаватели, смерть отца, бедность, выбор карьеры, военное училище, затем военная служба, Академия Генерального Штаба, — вот первая и чрезвычайно яркая часть этой книги.

Отец генерала родился за пять лет до Наполеоновского нашествия на Россию (в 1807 году) в крепостной крестьянской семье Саратовской губернии. 27 лет отроду был сдан помещиком в рекруты и, прослужив солдатом четверть века и побывав в Венгерском, Крымском и Польском походах, был произведен в прапорщики пограничной стражи в Польше. Там, овдовев и выйдя в отставку с чином майора, он женился вторым браком на польке-католичке из семьи обедневших мелких землевладельцев. От этого брака родился 4 декабря 1872 года в городе Влоцлавске, Варшавской губернии, сын Антон, впоследствии Главнокомандующий Вооруженными Силами Юга России.

«Больные русско-польские отношения, говорит автор, вторгавшиеся в нашу жизнь извне, внутри не вызвали решительно никаких недоразумений». В доме отец говорил всегда по-русски, мать — по-польски. Не было никаких недоразумений и в отношении религиозном: отец ходил в православную церковь, мать — в костел. Сына воспитывали в русскости и православии.

«Детство мое, пишет генерал Деникин, прошло под знаком большой нужды. Отец получал пенсию в размере 36 рублей в месяц». На эти средства должны были существовать пять человек его семьи. Пенсии, конечно, не хватало. Но «в день получки пенсии отец ухитрялся раздавать кое-какие гроши еще более нуждающимся — в долг, но, обыкновенно, без отдачи... Это выводило из терпения мать, оберегавшую свое убогое гнездо. Сыпались упреки: «Что же это такое, Ефимыч, ведь нам самим есть нечего...».

Трогательно и красочно описано это беспросветно-бедное и всё же дорогое автору детство. В дальнейшем изложении своих воспоминаний фигура автора постепенно ступенькается и выходят на первый план события, через которые ему пришлось пройти: — Японская война, первая революция, русский «военный ренессанс», первая мировая война.

Воспоминания дают не только интересный биографический материал о мало известном прошлом одного из главных вождей русского «Белого Движения», но книга эта, охватывая период от 1870-ых годов до 1916 года и подробно изображая быт армейской среды, дает также ключ к пониманию многих событий в последовавшей затем исторической драме — революции и гражданской войны в России.

Всё, что в этой книге касается военного дела — заслуживает глубокого внимания и рассказано это языком увлекательным и понятным не только избранной группе военных читателей, но и людям совершенно непосвященным в военное ремесло. Преклоняясь перед стойкостью русского офицера, его доблестью, выносливостью, мужеством и знанием своего дела, генерал Деникин отмечает полную неподготовку офицерства в вопросах общественных и политических.

Это имело роковые последствия не только для офицерской среды, но и печально отразилось на исходе гражданской войны, когда русский офицер очутился с глазу на глаз в борьбе с величайшей в мире разрушительной демагогией большевизма.

Разбирая отношения между офицерством и солдатской массой, А. И. Деникин подчеркивает, что хотя и случались в армии «грубость» и «самодурство», — они были осуждаемы и преследуемы. Вообще же, русское военное законодательство и карательная система в отношении к солдату были несравненно гуманнее, нежели в других первоклассных армиях «более культурных народов», особенно в армиях германской и австрийской.

На фоне рассказа генерала Деникина рельефно выделяется один интересный факт. В русской императорской армии не было того начала касты, которое царило на Западе. Дорога была открыта людям самого скромного происхождения, примером чему служат имена впоследствии известных начальников как в армии, так и флоте: — адмирал Макаров, генералы Иванов, Алексеев, Корнилов, Деникин и множество других, занимавших видное положение в военной иерархии.

Жалование, которое казна платила офицерам, было в буквальном смысле ничтожно. «И потому, говорит автор, когда во время революции митинговые ораторы большевистского лагеря причисляли к буржуазии, ими ненавидимой и истребляемой, офицерство, — это была неправда: русский офицерский корпус в главной массе своей принадлежал к категории трудового интеллигентного пролетариата».

В 1919 году, в разгар военной борьбы с большевиками, многие «правые» обвиняли ген. Деникина в левизне, «левые» обвиняли его в реакционных взглядах. Вот как сам Антон Иванович Деникин описывает свою политическую платформу:

«В академические годы сложилось мое политическое мировоззрение. Я никогда не сочувствовал ни «народничеству» (преемники его социал-революционеры) — с его террором и ставкой на крестьянский бунт, ни марксизму, с его превалированием материалистических ценностей над духовными и уничтожением человеческой личности. Я принял российский либерализм в его идеологической сущности, без какого-либо партийного догматизма. В широком обобщении этоприятие приводило меня к трем положениям: 1. Конституционная монархия, 2. Радикальные реформы и 3. Мирные пути обновления страны.

Это мировоззрение я донес нерушимо до революции 1917 года, не принимая активного участия в политике и отдавая все свои силы и труд армии».

В книге этой кроме обилия исторического, военного и бытового материала, имеется также любопытная оценка многих личностей.

Генерал Деникин хотел довести свою работу до того момента, где написанный им в двадцатых годах выдающийся исторический труд «Очерки Русской Смуты» явился бы естественным продолжением недавно напечатанной книги. Судьба, к сожалению, этому намерению помешала. «Путь Русского Офицера» не был закончен. Смерть генерала Деникина в августе 1947 года оборвала рассказ на том месте, где автор подходит к описанию «Брусиловского» наступления русских армий в 1916 году.

Тем не менее этот незаконченный труд займет со временем, мне так кажется, свое заслуженно-почетное место в русской мемуарно-исторической литературе, как и личность генерала Деникина — в

беспристрастном подходе будущего историка — выделится среди своих современников, благодаря ее гражданскому мужеству, благородству и тому «ныне уходящему элементу чести и рыцарства, без которого не может быть человеческого общества».

Д. Лехович

МИХ. ЦЕТЛИН. *Декабристы. — Судьба одного поколения.* Изд-во «Опыты», Нью-Йорк 1954 (395 стр.).

Настоящее издание книги Мих. Цетлина является вторым. Первое издание вышло много лет тому назад в Париже. Надо быть благодарным издательству «Опыты» за его решение переиздать эту книгу, именно теперь, когда интерес к декабристам, после еще не столь давнего упадка, вновь оживился. О декабристах много писалось в начале этого столетия, в момент революции 1905 года и в последующие за ней годы. После долгого перерыва, к юбилейному 1925 году в СССР вышло несколько работ о них.

Литература обеих этих эпох, зачастую очень серьезная и вполне удовлетворяющая научно-исторические требования, отличается одним недостатком. Как первая, так и вторая несколько тенденциозны. Первая — эпохи революции 1905 года, отражает царившие тогда в русском обществе настроения и как бы стремится подогнать взгляды и идеалы декабристов под их мерку. Отсюда зачастую снисходительная критика и несправедливое суждение об тех или других членах Тайных Обществ. Вторая, по необходимости судит о декабристах прежде всего с точки зрения принадлежности их к дворянству и буржуазии.

Главным достоинством книги Мих. Цетлина является ее совершенная объективность. Он и не думает подвергать глубокому политическому анализу декабризм, а просто рассказывает историю заговора, восстания и ссылки... Попутно останавливаясь на отдельных самых замечательных членах Тайных Обществ, он рисует их портреты. И то и другое он делает мастерски, восприняв манеру известных современных французских историков. Из под его пера выходит увлекательный романсированный рассказ, полный живости и, если можно так выразиться, «сочности». Это не сухой доктринерский протокол событий и строгая характеристика отдельных деятелей с той или иной политической точки зрения. Мих. Цетлин переносит читателя в обстановку давно прошедшего времени, будь то эпоха имп. Александра 1-го или времена царствования Николая 1-го или воцарения Александра 2-го. С ним читатель как бы присутствует на совещаниях Тайных Обществ, стоит на Сенатской площади 14-го декабря и шествует с политическими каторжанами из Читы в Петровский Завод.

Характер оценки Мих. Цетлиным замечательных представителей декабризма выражен в его фразе: «Если Муравьев был самым при-

влекательным, а Пестель самым одаренным человеком среди членов Тайного Общества, то самой красочной фигурой среди тогдашней военной молодежи был Лунин. Поражала в нем редкое сочетание дерзости и ума, духовной высоты и позы». Справедливую дань отдает он Сергею Муравьеву — этому, может быть самому убежденному и решительному декабристу, вместе с тем отличавшемуся какой-то необыкновенной женской мягкостью.

Рамки журнальной рецензии не позволяют остановиться на всех характеристиках, нельзя однако обойти молчанием то, что Мих. Цетлин говорит о Пестеле — этой всеми признанной главной фигуре среди декабристов. Признавая за ним все качества действительно большого человека, он, однако, подчеркивает его властолюбие и оправдывает недоверие к нему в этом отношении его товарищей по заговору. Указывает он и на нерешительность Пестеля, объясняя ее тем, что при своем исключительном уме не мог не понимать, что дело декабристов не может удасться. Автор ставит вопрос о том, как это никто из знавших Пестеля или писавших о нем не заметил его безумия? Он говорит, что, может быть, один Пушкин намекнул на его одержимость, выведя его под видом Германа в «Пиковой Даме».

Есть еще одно большое достоинство в книге Мих. Цетлина. Заметить, его, однако, в наше время могут уже немногие — только те, которые являются потомками декабристов и еще помнят своих дедов — их детей. Представляется непонятным, как мог автор уловить атмосферу декабризма, сам к этим потомкам не принадлежа? А вместе с тем, эта особенность, которую почти невозможно объяснить словами, проходит через всю его книгу.

Книга, конечно, является плодом большого труда. Автору пришлось изучить значительный исторический и мемуарный материал, что дало ему возможность внести в свой рассказ много бытовых черт, его украшающих. Но совершенно избежать неточностей ему не удалось. Они не имеют особого значения и упоминать о них не стоит. Для примера можно указать на то, что титулярный советник Г. А. Перец членом Союза Благоденствия не был. Федор Глинка создал для него отдельное Тайное Общество, именовавшееся сначала «Обществом Елисавета», а впоследствии «Обществом Перца».

А. Давыдов

5-го апреля 1945 года немцы расстреляли в Копенгагене Ким а Мальт-Бруна, датского матроса, которому шел 22-ой год.

Оккупанты его обвинили в том, что он, состоя членом тайного союза, украл у таможи шхуну и отправил ее в Швецию; что он добывал и перевозил оружие, нужное его подпольному отряду в деле сопротивления немецкой администрации. Его казнили — за месяц до конца войны и освобождения Дании, его родины.

В этой справке нет ничего необычного. Обыкновенная хроника тех страшных лет. С Кимом погибли другие, его товарищи по тому же опасному делу. Ведь и, сегодня, в мирное время, гибнет каждый день немало молодых патриотов от завоевателей и палачей в разных частях света, а в Европе как-то особенно много. Так почему же Ким стал национальным героем Дании? Почему радио этой страны так часто повторяет его имя и спрашивает по разному поводу: «Что бы сказал, сделал, подумал Ким?». И почему собрание его писем раскупается в таком небывалом количестве, которым давно уже не удостаивали ни один роман? Теперь это собрание переведено на многие языки — я читал его во французском издании (Col. Témoignages. Ed. Gilles. Paris).

Упомянутое собрание состоит всего из нескольких десятков писем, написанных матери, невесте и тетке; и эти письма почти единственное свидетельство о нем; он их писал с 1941 года, 17-летним, до апреля 1945 г., за день до казни из тюрьмы Вестры, в камере № 411, для смертников.

Кто это — Ким?

Ким родился в далекой канадской области, Саскечеван, в семье поселенцев-пионеров. Эта область славится своими непроходимыми лесами и просторами между селениями. Ким а рано послали в начальную школу, куда ему нужно было зимой ходить на лыжах, а летом он ездил туда верхом. Ким никогда не любил книжной учёбы, но он полюбил свои походы в школу, в одиночестве, через лес и поля. Однажды он едва не замерз по дороге, и его приютил незнакомый фермер. Природу Ким узнал непосредственно, с ней он жил и вырос; она его закалила на всю жизнь, — она же наделила его душевной щедростью. Когда ему было 9 лет, мать вернулась с ним в Данию и здесь начались у него школьные мытарства — ему суждено было

переменить пять учебных заведений. Он не был в силах приспособиться к дисциплине и как-нибудь усвоить правила орфографии родного языка. Начальник одной из школ говорил о нем, что Ким мальчик вполне нормальных способностей, но, как-то не из той ткани, из которой делаются гимназисты, «он слишком хорошо развит физически, что, возможно, объясняет его равнодушие к умственным занятиям».

Но настоящим его призванием оказывается мореплавание, оно его — «святое ремесло», ему он посвящает всего себя с воодушевлением знаменитых путешественников, как когда-то молодой Конрад. И после каких-то неудач в земледельческих делах и на конторских службах, Ким поступает юнгой на трехмачтовое судно и отправляется в свое первое плавание по Балтийскому морю, в сторону Финляндии, где в это время (1941 год) Россия ведет агрессивную войну. Перед отплытием Ким встречает пятнадцатилетнюю Ханну, влюбляется, и она становится его невестой.

С дороги Ким и начинает писать домой свои, ставшие теперь знаменитыми, письма. Они — не литература; в них нет вымысла, нет эффектов, прикрас; автор не пишет для издателя, они — документ, неподдельное свидетельство о даровитом человеке. И они замечательны потому, что Ким в них говорит свободно, правдиво и чутко, и говорит на темы, волнующие столько людей. Автор их и свидетель и страстный участник нашего времени; а кто станет спорить, что наше время не оставит после себя доброго имени — достаточно повторить за Альбером Камю, что с начала века было загублено «на законных основаниях» 70 миллионов человек!*

Четыре года плавания на севере; матросский быт и товарищество; само море; заход в заграничные порты; вид разрухи, оставленной недавней немецко-польской войной; картины самой войны в Финляндии с террором русских налетов, а вскоре встреча с русскими пленными в Гамбурге, их истощение, и одиночество, и обреченность, и рядом, похожие на разъяренных скотов, победители — немцы; затем жизнь и недолгая борьба в подполье на родине, провал организации, тюрьма и товарищи, допросы, пытка, мучение, суд, приговор и, наконец, ожидание казни — всё факты, хорошо рассказанные в письмах, но читатель сразу понимает, что дело не в одних фактах — некоторые слишком уже примелькались — стали похожи на рецидивы, — а что значение писем в том, что их автор с огромной душевной силой пытается овладеть этими фактами, проникнуть в их «человеческое», в существо самой тайны жизни. За эти четыре года Ким необыкновенно развился; приобрел особенно острое восприятие

* A. Camus. *L'Homme révolté*. Gallimard. Paris. — 14 стр.

и с ним свой опыт, в отношении жизни и смерти, мужественный и мудрый.

Его дар — это любовь. Ею он весь овеян, и ею он окутал мир. Любовь — источник всех его сил и огромного вдохновения. Он был одарен любовью, как другие — гениальными способностями к творчеству. И не потому ли он так точно находит слова? И не потому ли эти слова такие счастливые и неломкие, и западают в сердце, и заставляют его биться скорей? Его слова нельзя цитировать, чтобы их не снижать, не опошлять. Его рассуждений не нужно отрывать от целого. Такой произвол ни к чему — эти письма нужно читать в одном куске, в их собственном, и таком ясном, свете; их нужно слушать, как слушают монолог или сонату, с паузами, полными смысла, и едва ли важно, писал ли Ким матери или возлюбленной Ханне, раз мы догадываемся, что они написаны для нас. Они обращены к нам! Ким верил — он продолжит жизнь в нас.

Эти письма обогатят и направят многих, — так мне кажется, хотя в них нет учительства и в помине, но к ним можно пойти «за правдой», как ходят за этим «в литературу», и ходили — мы знаем — в русскую литературу в особенности. Кстати, говорят, Ким много читал русских авторов; он не расставался с платоновым Сократом, и упивался поэзией св. Писания.

Нужно желать, чтобы Письма этого молодого датчанина были изданы на русском языке.

По поводу еще одной книги.

Как-то уж очень безотрадно писать о Ленине. И неуместно.

Нам не подобает занимать Лениным хотя бы одну страницу этого журнала, увлеченного мыслью о торжестве личной творческой воли. Это же он, Н. Ленин, еще в 1905 году писал: «литературное дело должно быть колёсиком и винтиком великого социал-демократического механизма» («Новая Жизнь» № 12). Звучит это уморительно смешно и захолустно, но если вспомнить, что Ленин и его присные осуществили и этот проэкт, несколько лет спустя, сполна и надолго, то получается совсем несмешно. Смеяться нечего. Этакая сентенция писалась 35-летним «рассейским Мессией» тогда, когда в России еще жил Лев Толстой. Русский народ пропустил зловещее предсказание мимо ушей. Оскорбились одни «декаденты» из журнала «Весы», которых в общественной жизни всерьез не брали. Но, какое

может иметь значение мнение Ленина о литературе рядом с его, так сказать, магистральными злодействами?

Его дело была — политика, та таинственная и горячая деятельность, где порок и добродетель, меняя как бы свой удельный вес, расцениваются совсем по другому, чем в обыкновенной жизни простых людей. И политики, не без высокомерия делят, без остатка, весь мир на две неравные части — *мы* и все остальные. Последние, т. е. обыватели, мало что знают по-человечеству о первых. Когда Чингиз-хан умер, об этом оповестили мир через семь недель, — случай крайний. Разумеется, это простая хитрость. Русские диктаторы процарствовали десятки лет, но знать о них, что это были за люди, «как жили, кого любили, и как любили», до сих пор было не дано. Мы хотим знать, какой был характер у Ленина? Что это было за сочетание черт, сделавшее его роковым героем в том смысле, в каком математик Пуанкаре, раздумывая о слепом случае и закономерности в истории, говорил: «Самая большая случайность в истории — это рождение великого человека»?

Почему Ленин, а никто другой из его заговорщицкой среды, становится бесспорным командиром, не будучи ни самым талантливым, ни самым ученым, и далеко не обаятельным, и точно становится командиром тогда, когда наступило время. Я думаю, это потому, что он один и знал, совершенно абсолютно, что это время наступило. Пожалуй, такое наитие и было его исключительной силой. По-английски эту способность видения зовут *sense of timing*, — в русском еще нет эквивалента, но смысл из сказанного ясен.

«Рискнули и выиграли. Это я одобряю» — так говорит Ленин в примечательной — к этому я и вел разговор — книге Н. Валентинова — «Встречи с Лениным» (изд. имени Чехова. 1953). Книга отвечает на многие вопросы, поставленные в начале этой заметки; написана она прекрасно и свежо, и, думается, ею будут пользоваться историки и после нас, чтобы выуживать из нее «профили» великого заговорщика.

Автору удалось проникнуть в скрытый «уголок» Ленина и вывести его оттуда и показать его нам «в шлепанцах». Мы ничего подобного еще не слышали о нем: до сих пор писались Жития, нужные для канонизации, или заклинания, чтоб предать ленинскую тень анафеме.

50 лет тому назад, Валентинов-Вольский, 24-летним «твердолобым» большевиком отправился, по выходе из киевской тюрьмы, в порядке партийной дисциплины, и с большим воодушевлением, в Женеву, где находились главные штабы — меньшевиков и большевиков — после раскола партии на 2-ом съезде, случившегося за год до того.

Автора прямо послали к начальнику — Ленину, и тот к нему благоволил, — обстоятельство немаловажное, облегчившее более близкое знакомство. Партия проходила через кризис и Ленин страстно переживал события. И эти обстоятельства в нем открывают и развивают те особенные свойства его нрава, которые, потом, уже в Кремле остались с ним навсегда — нетерпимость, нежелание считаться с чужим мнением, непреклонность воли, однодумство и устремленность только к одной цели, — власти. Он маневрирует как полководец — то наступает, то отступает, чтобы взять крепость. Властолюбив он дьявольски. Вся жизнь, все самые мелкие подробности быта подчинены и служат этой задаче. Он знал, чего хотел, позвериному; он думал и действовал одновременно; раздумья его тяготили; он спешил и не был человеком «длинных мыслей», опасаясь запутаться в них и перестать «таранить».

Валентинов с большим талантом разворачивает свою повесть о жизни в Женеве, продолжавшейся всего один год, 1904-ый, после чего автор в горестных сомнениях, вкусив и ленинского ражу, и буйного цинизма, и узнав поразительное серое невежество большевистского лидера, — с решимостью отступил.

Карл Каутский где-то называет Ленина русским Бисмарком. Я не знаю в точности, что он имел в виду, но если он думал сказать, что Бисмарк был пруссак, а не немец (воевал же он в союзе с итальянцами против австрийцев), тогда я считаю его замечание весьма метким. И правда, в Ленине много прусского: его любовь к когорте, т. е. к партии, без которой он не мыслим. Мир ему был открыт только через этот аппарат, и между ним и русским народом, для него чужим и далеким, стояла партия. Он ее обожал по-церковному и строил он ее по образцу немецкой социал-демократической, которая в свою очередь имитировала прусскую военную организацию. Его вдохновляли Гнейзенау и Клаузевицы, создатели немецкой армии. Этим духом Ленин «проквасился» весь и создал стиль строевой, солдатский, одной линии; стали писать и говорить за ним на постном, пресном и «не проточном» языке с тяжелой руки автора «Что делать?». Со слов Валентинова, сказанных ему Лениным, Чернышевский «перепыхал его всего».

А в письмах к своей возлюбленной, Инессе Арман, когда разговор шел о свободной любви (жаль, что некоторые письма не напечатаны в книге Валентинова), Ленин говорит на языке военной реляции.

Эре

**Книги известных американских авторов
в русском переводе**

поступили в продажу во всех русских книжных магазинах

Цена в С.Ш.А.

- Вилла Катэр — Моя Антония.** 320 стр. \$2.50
Роман *Моя Антония* рисует жизненный путь тех европейцев, которые переселившись в Соединенные Штаты Америки приняли участие в создании будущего новой и молодой нации.
- Джемс Трослоу Адамс — Американская эпопея.** 416 стр. \$3.00
Цель книги *Американская эпопея*, как указано автором в эпилоге, проследить важнейшие факты американской истории с тех незапамятных времен, когда неизвестно откуда пришедшие дикари бродили по всему континенту до кризиса, вызвавшего вторую мировую войну.
- Элизабет Пейдж — Утро Свободы.** Том I — 416 стр. . . \$2.75
Том II — 400 стр. . . \$2.75
Роман писательницы Пейдж изображает Америку второй половины XVIII века, в эпоху борьбы за независимость, когда закладывались основы той жизни, которые превратили Соединенные Штаты в свободную, богатую и могущественную республику.
- Джон Гюнтер — По Соединенным Штатам.** 416 стр. . . \$3.00
Джон Гюнтер, журналист, цель которого показать Америку. Автор совершает с читателем путешествие по всей современной Америке, уделяя главное внимание внутренней жизни страны.
- Конрад Рихтер — Дебри.** Роман. 272 стр. \$2.25
Дебри проникнуты мужественным лиризмом и посвящены жизни ранних колонистов в их борьбе с непроходимыми лесами, покрывавшими американский материк.
- Майкл Пупин — От иммигранта к изобретателю.** 416 стр. \$3.00
Книга М. Пупина — нечто значительно большее, чем автобиография иммигранта, прошедшего нелегкий путь от безвестного пастуха до знаменитого изобретателя. На страницах этой книги оживает эпоха расцвета науки и техники в Америке в конце прошлого и начале нашего века.
- Стивен Крейн — Алый шеврон мужества.** 224 стр. . . . \$1.75
Эпизоды из гражданской войны в Соединенных Штатах составляют фабулу этого произведения, в котором описывается, как юный новобранец, пошедший на войну добровольцем, превращается в зрелого мужчину. Переводчику удалось передать выдающийся литературный блеск оригинала.

СНЕКHOV PUBLISHING HOUSE

of the East European Fund, Inc.

387 Fourth Avenue

New York 16, N. Y. U.S.A.

О Г Л А В Л Е Н И Е

	Стр.
<i>П р о з а :</i>	
<i>В. Набоков: Воспоминания</i>	3
<i>В. Варшавский: Отрывок</i>	52
<i>Е. Неверова: Трубный глас</i>	70
<i>С т а т ь и :</i>	
<i>В. Вейдле: На смерть Бунина</i>	80
<i>Г. Адамович: Комментарии</i>	94
<i>Л. Шестов: Sola Fide</i>	115
<i>Прот. А. Шмеман: О Византии</i>	145
<i>Е. Извольская: Тень на стенах. (о Цветаевой)</i>	152
<i>Ю. Анненков: Вокруг Есенина</i>	160
<i>В. Франк: Политический фольклор</i>	180
<i>А н к е т а :</i>	
Ответы: <i>H. Hesse, R. Niebuhr, W. H. Auden</i>	185
<i>Б и б л и о г р а ф и я :</i>	
<i>Г. Струве — Неудачная книга о русской литературе (M. Slonim. Modern Russian Literature). В. В. — А. Боголепов: Русская лирика от Жуковского до Бунина. Ю. Терапиано — С. Прегель: Берега. Д. Лехович — А. Деникин: Путь русского офицера. А. Давыдов — М. Цетлин: Декабристы. Эрге — Nota Bene</i>	189

Важнейшие опечатки № 2 ОПЫТОВ

Стр.	Строчка	Напечатано	Надо
44	21	Платона	Плотина
44	23	Плотина	Платона
64	13	Блюхера	Бюхнера

Содержание первых двух №№ литературного журнала ОПЫТЫ под редакцией Р. Н. Гринберга и В. Л. Пастухова:

I — В. Вейдле — Европейская литература. Стихи: Ю. Терапиано — Неизвестные стихи О. Мандельштама; О. Мандельштам, И. Буркин, Г. Иванов, Ю. Иваск, Дм. Кленовский, С. Маковский, В. Набоков, И. Одоевцева, В. Смоленский, Г. Струве, Ю. Терапиано, Л. Червинская, И. Чиннов. Проза: А. Головина — Ася; Б. Поплавский — Аполлон Безобразов; А. Ремизов — Дягилевские вечера; И. Савин — Дроль. Критика: Г. Адамович — Комментарии; З. Гиппиус — Искусство и любовь; Н. Оцуп — Н. С. Гумилев; С. Маковский — Поэзия И. Чиннова. Памяти ушедших: Ю. Иваск — Г. П. Федотов; В. Пастухов — Памяти С. Прокофьева. Письма, документы, материалы: Б. Зайцев — Дни; Н. Берберова — Из петербургских воспоминаний; Г. Струве — Из архива Н. Гумилева. Библиография: Г. — Г. Иванов: Петербургские ночи; Ю. Иваск — Рифма, А. Величковский: Лицом к лицу, Е. Величковская: Белый посох, А. Марков: Приглушенные голоса, Одарченко: Денек. В. П. — А. Ремизов: В розовом блеске, Н. Ульянов: Атосса, М. Цетлин — Пятеро и другие. Эрге — Nota Bene.

II — Стихи: В. Ходасевич, Г. Адамович, О. Анстей, Н. Берберова, А. Горская, В. Злобин, О. Можайская, Ю. Одарченко, Н. Оцуп, В. Пастухов, К. Померанцев, Н. Присманова, Е. Шувалова. Критика: Б. Зайцев — Отдых; А. Ремизов — Огонь вещей: Судьба Гоголя; В. Вейдле — Об иллюзорности эстетики и о жизненной полноте искусства; Ф. Степун — Кино и театр; Ю. Иваск — Клюев; Ю. Марголин — О лжи. Проза: Г. Газданов — Княжна Мери; В. Яновский — Заметки современника; Д. Лехович — Расстрел. Воспоминания, письма, материалы: Ю. Анненков — Мелочи о Горьком; В. Ледницкий — Воспоминания и литературные заметки; А. Шик — Парижские дни Гоголя. Письмо С. М. Соловьева к Андрею Белому. Огзывы и заметки: М. Кантор — А. Гольденвейзер: В защиту права; Ю. Терапиано — С. Маковский: На пути земном; А. Ш-н — В. Яновский: Портативное бессмертие; В. Емельянов — Н. Федорова: Семья; Эрге — Nota Bene; Р. Г. — О нашем № 1; Ответы на анкету Albert Camus, Peter Viereck.

Цена одной книги с пересылкой 2 дол. 50 ц., трех №№ 6 дол.
Нумерованные экземпляры №№ 1, 2 и 3 продаются по 5 дол.

Подписную плату чеком или почтовым переводом просим
направлять на адрес издательства:

"EXPERIMENTS" 112 West 72nd Street,
New York 23, N. Y.